

Гарий Немченко

РУССКИЙ МАЛЬЧИК

Рассказал о нем Миша Плахутин, когда в его машине возвращались в Москву из-под Звенигорода...

Лет пятнадцать спустя, после того, как вместе съели побольше соли, я вдруг подумал: а не о себе ли он тогда мне рассказывал?

Уж больно похожи необыкновенные приключения Русского Мальчика на его, Мишины, а что у Миши всегда такой тихонький, такой благостный, такой доброжелательный вид, это ещё ничего не значит, мало ли. Во-первых, старая школа, воробей стреляный, а во-вторых, - когда его вижу-то?.. Когда на неделю-другую прилетает из своей Касабланки и в первые дни чуть ли не всему подряд на родной-то земельке радуется.

Но зачем бы ему в таком случае разыгрывать тогда это представление с заездом к матери старого дружка?

Не знаю, почему, но это я помню почти по минутам - как ехали по Можайке, как перед Немчиновкой в деликатной своей манере он извинился и попросил: не буду я против, если на несколько минут заедем к одной старушке?

Остановил «жигуленок» возле древнего, с обшарпанными стенами двухэтажного дома, взял заранее приготовленную бумажную сумочку с какой-то малой поклажей, скрылся за углом...

После я выговаривал ему: почему о Русском Мальчике он рассказал мне после того, как вернулся, и мы поехали дальше?

Разговорился бы перед этим, и я бы наверняка пошел с ним взглянуть на старенькую маму Русского Мальчика и на этот её чудесный крошечный огородик, в котором сколько и чего только не растет.

А так – они появились из-за угла: широкий в плечах, приземистый Миша и прямая, высокая, совершенно седая, но с моложавым, как мне показалось, лицом и внимательными глазами очень пожилая женщина в традиционной, поверх домашнего халата, стеганой безрукавке, в шерстяных, несмотря на летнюю жару, высоких носках и в теплых, с опушкой, домашних тапочках.

Миша что-то сказал ей, обнял, прощаясь, а она перекрестила его, и все крестила, пока он шел к машине, и крестила потом вслед, когда «жигуленок» тронулся.

- Ты знаешь, что в этих местах была дача Паулюса? – спросил Миша тут же, как мы отъехали.

- Того самого? – уточнил я без особого интереса.

- Да, фельдмаршала.

- Знал, что под Москвой, а где – нет, не знал.

- Надо было показать тебе, уже проехали.

Я поддерживал разговор:

- Видно с дороги?

- С дороги не видать, в глубине. Да и кругом все изменилось... просто вспомнил, что сперва эта дача, а потом уже Витин дом.

- Витя – это кто?

- Русский мальчик, - сказал Миша и плечи у него слегка приподнялись. – Никогда тебе не рассказывал? К его матери мы сейчас заезжали.

- К бабушке тогда? Если мальчик...

- Нет, Мальчик – это у него прозвище. Со школьных времен. Как бы сказали теперь: кликуха. Полностью – Русский Мальчик.

- Н-ну, если кликуха – да полностью!

Миша обернулся только на миг, и обаятельная его, дружелюбнейшая улыбка как будто добавила сердечности голосу:

- Тут случай особый. Вообще-то я давно тебе собирался эту историю...

- Ну, так в чем дело?

- Столько раз собирался, поверь!

- А так и зажал, видишь.

- Представь себе: сорок седьмой год. Голодуха, если помнишь...

- Ещё бы!

- Если на Кубани у нас чуть не пухли, представляешь, что было тут?.. Ну, может, это сорок восьмой год, потому что он ходил тогда в пятый. Русский Мальчик... Или это в шестом? В учебнике по истории. Что наши предки, славяне, могли часами лежать в болоте и дышать через камышинку...

Признаться, тоже запомнил, поэтому поддержал Мишу тоном:

- Главное, что могли.

- У них отец не пришел с войны, а кроме него ещё младшие сестрица и братец... Мать и на работе целыми днями, и в Москву по выходным стирать ездит, а попробуй-ка троих прокорми. А рядом эта дача, где Паулюс живет. Как сыр в масле, ты же понимаешь...

- Ясное дело.

- Вот бабы соберутся вместе поплакать, и давай: наши где-то в чужой земле лежат, дети голодные-холодные, а его тут как на курорте кормят... за что? За то, что наших детей без отцов оставил? Что все кругом разорил?.. А собирались все больше у них в доме, Витька этих разговоров, как понимаю, во! – наслушался. Ну, и решил посчитаться за отца. С фельдмаршалом...

- Ни больше, ни меньше, - сказал я сочувственно, но как бы и не без некоторой насмешки: нашелся, мол, пострел!

- В том-то и дело! – оживился Миша. – В том и дело. Причем один, представляешь?.. До этого они все подползали с мальчишками к забору с колючей проволокой, смотрели издали, как Паулюс купается в озерке, как загорает, как чай на берегу пьет... Возле него денщик – немец, прислуживает, а два наших часовых поодаль ходят: навстречу друг дружке. Забор в одном месте спускался в камыши на краю озерка, и Витька сперва выломал подгнившую доску, выбрал из-под неё ил... подготовился, одним словом. Потом разделся на берегу до трусов, надел на себя тряпошную сумку... ходил с такой в первый класс?

- Не только в первый...

- Ну, вот. А он положил в неё несколько камней...

- Отчаянный парень! – сказал я уже совершенно искренно.

- Он такой и остался! – откликнулся Миша. – Я вас как-нибудь познакомлю.

- А где он сейчас?

- Дай сперва досказать: положил несколько камней... Пролез в дырку, в зарослях отлежался, а потом приспособил эту самую камышину: одной рукой её во рту держит, а второй цепляется за траву, попу переставляет, боком себя подтаскивает...

- Тоже, слушай, достойно учебника по истории!

- Самое интересное, что ему это почти удалось!

- П о ч т и ?

- Запутался в лямке, горло передавила: боезапас-то в сумку положил – будь здоров! Камышину не удержал, выпала, стал

захлёбываться, тут-то часовой его и заметил. Бросился, вытащил на берег уже совсем близко от Паулюса, а что Витьке – Витьке только того и надо: руку - в сумку, выхватил камень, запулил...

- И попал?

- Да ведь сколько готовился! Немцы так небось к войне не готовились – попал в кость пониже колена, самое, знаешь, болезненное место... Часовой его схватил, руки за спину, замахнулся, а Паулюс как заорет. Уже на русском: отставить! Не смей!.. Тут подбежал второй часовой, не знает, что делать, а фельдмаршал показывает своему денщику на камышину – плавает рядом с берегом. Денщик бросился, в чем был, достал, подал Паулюсу. Тот сперва долго её рассматривал, потом сказал что-то денщику, тот возле Витьки остался, а Паулюс вошел в дом и вернулся уже в фельдмаршальской форме, ты представляешь?.. Отпустите, говорит, мальчика: я буду с ним говорить. И вот Витька стоит перед ним, не знает, что делать. Побежать – догонят, вон их сколько... А Паулюс взял под козырек и громко говорит: русский мальчик! Я знаю, твой отец был настоящий солдат. И ему было за что сражаться. Ты – тоже настоящий воин, русский мальчик. Ты меня победил... И я прошу у тебя мира. Не у них у всех! - показал куда-то рукой. У тебя!.. Витька рассказывал потом: говорит, а у самого – по щекам...

- Да, уж если у меня теперь, - виновато сказал я Мише, доставая платок.

Он снова обернулся на миг, в глазах его тоже сверкнули блески.

- А ты думал, война тогда в сорок пятом в Берлине закончилась?.. Нет, брат: вот тут потом – через несколько лет. Под Москвой. Недалеко от Немчиновки.

- Что ж ты мне никогда не рассказывал? – упрекнул я Мишу.

- Ну, как-то не пришлось. Бывает, «за бугром» затоскуешь, начнешь друзей вспоминать... Несколько раз думал: надо их познакомить. А как?.. Он где-то по всему свету мотается, мать вот даже не знает, где сейчас. Скорее всего, говорит, на своей даче, в Арабских Эмиратах...

- У него там дача?

- Представь себе. На берегу океана. Шейх ему подарил.

- Шейх? За что?

- Это как бы отдельная история. Это уже потом. Давай сперва про Паулюса доскажу...

- Миша! – сказал я решительно. – Кто из нас сочинитель?.. Я или ты? Отбиваешь хлеб. Как раньше говорили блатные, чужую горбушку хаваешь!

- Почему это – раньше? – переспросил он грустно. – И почему – блатные? Нынче у нас половина высших чиновников только «по фене ботает»...

- Не учёл я, брат, извини...

- Что остаётся обывателю?

- Пусть их, давай о Мальчике.

- Видишь, как оно получается, – вернулся Миша к прежнему тону. – Кто-то, и в самом деле, сидит в своем кабинете в Москве или на даче под Москвой и все из пальца высасывает...

- Это ты про меня?

- Да нет, ты как раз легкий на ногу.

- Спасибо, уважил.

- Я о наших книжных развалах: лечу сюда, мужики, с которыми на кране работаю, просят: Лексеич! Привези чего-нибудь почитать. А я на Арбате начну листать книжки – ну, такое дерьмо... эх, думаю! Собрался бы кто-нибудь о наших ребятах за рубежом, которые там то одному утрут нос, то другому... О тех же наших хоккеистах.

- В мой огород, все-таки?

- Да почему – в твой? На всех хватило бы. На всю вашу писательскую братию. Ну, Костя Цзю или там братья Кличко – это у всех на слуху. А сколько наших ребят, о которых никто не знает, тем же американцам вставляют перо в задницу... Или я не прав?

Пришлось искренне вздохнуть:

- Что там дальше – с Паулюсом?

- Стали они Витькину сумку консервами загружать, а она возьми да порвись, всё на траву...

Не знаю, почему, но я уронил голову на грудь.

Он бросил-таки быстрый взгляд:

- Чего ты? Все правильно. Недаром греческих мальчиков в школе учили плакать...

- Спартанцев, да, - сказал я глухо.

- Были кроме Спарты, зачем... Где-то читал, что некоторые центурионы отказывались брать легионера, если он не умел заплакать...

- Видишь, хоть туда бы да взяли...

- Кстати: два года он пробыл в иностранном легионе.
- Кто? – спросил я уже оторопело.
- О ком мы говорим? Русский Мальчик!
- Сумка у него порвалась, и все вывалилось на траву, - сказал я обреченно....

- Да! – согласился Миша. – Все вывалилось. Тогда Паулюс велел найти вещевой мешок, они нашли, набили продуктами... ну, что по тем временам? Какая-нибудь колбаска, сгущенка, шоколад... Он говорит, разбирали с матерью, нашли даже три лимона. Нагрузили они его будь здоров. Часовой за калитку вывел: никому ни слова! – просит. Ты уже большой, понимаешь. Иначе нам, брат, капут! Что тебя проморгали.

- Вот это как раз момент, и правда, сомнительный, - начал я.

- А ему всегда везло, - опередил меня Миша. – Во Французской Гвиане, когда мы с ним в кабаке познакомились, его товарищ, африканец, так и сказал: это - месье Удача.

И я горестно вздохнул:

- Хоть немного бы её - другим русским мальчикам!

- Так вот, почему он им стал, - продолжил Миша. – Мать тоже умоляла его никому не рассказывать, мало ли что, еще посадят, но он отобрал у неё часть своих трофеев, принес в школу, весь класс на уроке жевал, и учительница истории сначала всех подняла, весь класс, потом велела сесть и начала следствие... Её любили, и классные ябеды тут же при всех доложили ей про Паулюса, и как он Витьке сказал: русский мальчик!.. Она все поняла и сказала: настоящий Русский Мальчик он не только потому, что заставил немецкого маршала признать свое поражение. Ещё важнее, что он с вами со всеми поделился трофеями... пусть всегда таким остается!

- Этот бы завет, да...

- А, ты знаешь, он таким и остался! – воскликнул Миша, останавливая свой «жигуленок» возле метро.

Хотел было попросить его довезти до следующей станции, но вспомнил, что он спешит.

- Доскажешь потом! – решил, пожимая руку.

Не удержался и братски по плечу пристукнул: спасибо, мол!

Он поманил ладошкой: наклонись.

Наклонился, и тоже получил по плечу.

2.

Познакомились мы с Мишей, когда я резал березовые ветки для банных веников и оказался на его разгороженном участке...

На заболоченной просеке под высоковольтной линией пасся уже много лет: всегда молодой подрост будто и существовал как раз для этого - сочный, низенький и не жаль губить, разгуляться тут ему все равно не дадут.

Потом вдруг весь этот протяженный кочкарник, где когда-то была прямая дорога в пушкинское Захарово, отдали Комитету по внешним экономическим связям: для дачников. Попервоначально те взялись лихо, и наши, кобьяковские, лишь удивлялись: как жить-то будут «под электричеством»? Потом вдруг кто-то прознал, что линия эта запасная, напряжения никогда в ней не было, но тут-то как раз пропало и напряжение во всей нашей системе, имею в виду уже - вовсе не электрическую...

Достаточно бурное строительство враз попритихло, а там, где успели поставить сруб, только и всего, стало и совсем сиротливо: затянутые полиэтиленом окна смотрелись как бельмо на глазу.

Рядом с дачами я вообще предпочитал не появляться с секатором, нашел себе другое местечко неподалеку, но в тот раз маленько «кружанул» и оказался на приватном, значит, участке.

На пороге раскрытой двери отдыхал голый по пояс хозяин бельмастой избы, и я пошел к нему со своей уже немалой вязаночкой.

- Прошу простить, что посягаю на частную собственность, - начал говорить ещё на подходе. – Пока забора нет, через ваше поместье хотел к дороге пройти... Разрешите?

- Посидите сперва, - предложил хозяин, с грустным пониманием улыбнувшись. – У вас, вижу, банька?

- Н-не то чтобы, - сказал я неопределенно, потому что сооружение, которое в ту пору имелось в нашем дворе в Кобьяково, по большому счету вряд ли могло называться таким дорогим душе, высоким именем. – Но вроде того...

Он дружелюбно улыбнулся:

- Все равно – счастливчик, - и повел головой на свой сдавленный с двух сторон соседними участками, но по торцам разгороженный двор. - У меня пока – вон...

- Лиха беда – начало! – сказал я привычное.

Ну, и – слово за слово...

Ещё у него за чайком на табуретках посреди двора выяснили, что земляки: он родом из Армавира, а сколько от него до моей Отрадной? Всего-то семьдесят километров.

В Армавире была ближайшая от нас железнодорожная станция, более того – две: Армавир-первый и Армавир-второй. Для меня, как для многих, он стал «портовым» городом, из которого уходил в первые свои дальние плавания и куда потом возвращался... да что там говорить: Армавир!..

Расположенный в горловине Кавказа, он прославился ещё в Гражданскую, а во время второй Отечественной и сразу после неё снискал себе такую громкую славу, что на равных сватался к знаменитой своими уркаганами Одессе. В наших краях так и говорили: Одесса - мама, Армавир – папа. Потом прошел слух, что на армавирских обиделись ростовские урки: чего, мол, о себе возомнили! Была большая драка с ножиками, и папой сделался Ростов, а Армавир остался у них сынком: у Одессы-мамы с Ростовом-папой. Так и говорили: Армавир, мол, - сынок, но страшный неслух, давно обошел родителей, и я до сих пор помню пришитый мамой к трусам и заколотый булавкой кармашек с деньгами на житьё в Москве и на обратную, если не поступлю, дорогу домой – кабы не эта, самая надежная в мире, «барсетка» разве бы, и правда, я поступил?

Как всякий здоровый духом армавирец - а почти все они по натуре захватчики, - Миша мечтал о доме в нашем отрадненском Предгорье и даже назвал станицу, о которой мечтал: Надежная... места там, это точно, места!..

Я тут же сказал, что тратиться на жильё в Надежке ему не придется, полтора десятка лет назад за него это сделал я: купил там ещё крепенькую хатенку, обложил кирпичом, пристроил деревянную веранду с видом на старый сад, полого спускавшийся к знаменитому Малому Тегиню, на противоположный его берег, за которым сперва начинались зеленые лысые холмы, а дальше синели покрытые почти непроходимыми лесами Черные горы... Зажил я там!

До первой поездки в Москву на какое-то литературное мероприятие, которое, конечно же, не стоило того, что у меня тут, пока меня не было, приватизировали.

Ладно, унесли все дрова и утащили из дома чугунную плиту со всеми конфорками, что, впрочем, вполне логично: зачем писателю дрова, если у него теперь нету печки? Хоть пишет без конца об «азиятах», не станет же топить её как в старину черкесы - очаг?

Но больше всего меня озадачило отсутствие стоявшего в укромном уголке в начале сада сверкавшего белизной «скворечника», в подарок привезенного сюда из Отрадной старым дружкойм Федей Некрасовым, главным врачом районной санэпидстанции, который так мне сочувствовал, когда мама умерла, и я остался без дома, так помогал на новом месте, в соседней станице устроиться...

Как и куда перетащили ночью это громоздкое чудо деревянного зодчества? На бричке увезли? Или хватило и тачки?

За чаем на табуретках поведал я обо всем этом Мише. Спрашиваю его: если старое название казачьей станицы относится теперь все больше к тому, что ежели что там упрут, то сховают н а д е ж н е й некуда, если не побрезговали моими вещичками, сделанными на отрадненском промкомбинате или в «Межколхозстрое», зачем тебе карловаться в твоём Марокко?

Если собираешься потом поселиться в Надежке, где все украдут?

Некогда устойчивое положение представителя престижного Комитета для Миши закончилось полным крахом, одно время его даже не выпускали из какой-то африканской страны, держали как заложника – до тех пор, пока Советский Союз не выполнит обязательств по какому-то там поганенькому контракту... чего захотели!

Все заработанные деньги у него отобрали, еле ноги унес из мало цивилизованной каталажки, с оказией перебрался в соседнюю страну и начал отсюда, как я понял, уже самостоятельный, можно сказать, даже суверенный, как нынче модно, дрейф по Африке в качестве независимого консультанта, эксперта, многопрофильного специалиста и все в таком роде, пока не достиг, наконец, и действительно, в ы с о к о г о положения: его рабочее место, которое он оставил на время отпуска, находилось в приподнятой над платформой кабине плавучего крана в порту Касабланка, где команды французского инженера он перетолмачивал по громкой связи на русский – для работяг из obsługi.

Этот Мишин кран!..

Как-то он позвонил с него по нашему номеру на Бутырской: хорошо, что я оказался дома.

- Это Касабланка, - я слышу. – Плахутин!

Я обрадовался!

- А чего у тебя такой голос, Плахутин? – спрашиваю. – Никак там на жаре простудился?

- Нет, - отвечает. – Это я охрип. Кран вторые сутки в ремонте, связь тоже барахлит, ребятам ору в «матюгальник». Напоминает, говорят, родину... по-моему, это они и подпортили связь: затосковали!

- А откуда ребята? – интересуюсь.

- Из города-героя Новороссийска... слышал о таком?

- Ну, как же! – смеюсь. – Краем уха... а кран?

- А кран, по-моему, из Сухуми... Их всего два таких было на Черном море, берега укрепляли – вот один и перегнали сюда: им теперь там не до того.

- Ты не только ребятам передавай привет, - говорю ему. – Крану – тоже. Пожалуй, это он тут возле Гагры болтался, особенно после шторма: как в море ни глянешь, торчит ... а база и была в сухумском порту!

- Вообще-то уникальный кран: и подъемник, и землечерпалка, что хочешь...

- Привет ему, привет!

Ну, что умного скажешь, когда посреди сумрачных и дождливых осенних дней в Москве так вот неожиданно – Касабланка!

Может, дело ко мне? – спросил его. – Может, какое ответственное поручение?

Да нет, - отвечает. – Просто вот стоим на ремонте и выдалась минута...

Затосковал тоже?

Положил я трубку и долго сидел, уставившись в сумеречное окно...

Тешил себя: представлял, как в Доме творчества в Гаграх, в Приморском корпусе, в такую же примерно погоду, сидим на балконе в плетеных креслах, из высоких фаянсовых кружек пьем крепенький чаёк, а в берег тяжело шлепает волна, и неподалеку на беспокойной воде торчит этот плавучий кран, он тогда был там как неотделимая часть местного морского пейзажа... Пьем крепенький чаёк, и лобастый Юра Казаков, посверкивая из-под очков

умиротворенными глазами и слегка опустив нижнюю губу, говорит, слегка заикаясь:

- Т-твоему поколению не п-повезло, старичок!.. Вроде какая разница – несколько лет... Но я успел купить дачу в поселке академиков в Абрамцеве. Всего-то за одиннадцать тысяч. А что теперь можешь ты? Так и будешь всю жизнь по этим д-домам, прости меня, т-творчества...

Ах, если бы, дорогой Юрий Павлович, светлая тебе память на земле и царствие небесное – выше... Ах, если бы!

А Юра сочувственно советует, несмотря ни на что, держаться, почаще доставать из тяжелого солдатского ранца тот самый маршальский жезл и драить его, не жалея сил, драить - он должен всегда блестеть!

- И главное при этом - не п-похмеляться, старичок! – говорит на горькой полушутке. – Это собственный опыт. Мы с Евтушенко жили в соседнем люксе. С вечера надирались в «Гагрипше» так, что я нес его на себе. Я его укладывал, а не он меня. Но утром... утром! Приоткрываю один глаз, нащупываю рядом бутылку, а он, слышу, в ванной на лицо плещет. Снова приоткрываю глаз: вижу, как мучается с гантелями... на это страшно смотреть, но он делает зарядку. Приподнимаю голову – а Женька уже за столом, уже стучит на машинке... Вот с кого надо брать пример, старичок!

Только ли, дорогой Юра, в этом?

Но поздно, поздно!

В плетеных креслах за таким же, из лозы, столиком из больших, с почерневшими краями, фаянсовых кружек пьем с Казаковым крепкий чай, а в кабине на кране уже сидит Миша Плахутин, уже слушает, что скажет инженер-француз и переводит потом по громкой связи ребятам из города-героя, ну, прямо-таки чуть не со знаменитой Малой Земли, эх!

И Костя Гердов, здешний Котэ, талантливый и безалаберный Кот почти в такой же будке, вознесенной над домом матери, уже сидит над рукописью с ироническим названием «Опыт жизни со свалки»... нашелся Мишель Монтень!

Встречаемся с Мишей редко, хорошо, если раз в два года, но на стене в моем крошечном кабинетике в Кобяково висит терракотовая тарелочка с видом Касабланки: гляну, и как будто поговорю с ним. Хоть коротенько, а все же.

- Ты что, сдал квартиру? – спросил он, появившись у нас в деревне вместе с Таней на новеньком, с марокканскими номерами «ситроене», на котором через всю Европу проехал. – А я звоню тебе с крана, но там другие жильцы...

- А как иначе русскому писателю выжить?

И Миша только вздохнул:

- Люди-то хоть надежные?

Снова мы посидели у меня под яблоней, которая сама понимающе скинула нам несколько налитых своих плодов, чтобы заесть пахучий марокканский коньяк...

- Ну, на всю деревню! – сказала моя жена, поставив рюмку.

- Как бы сказали, Миша, в твоей любимой Надежке: большой духман! - поддержал я.

- Уж на этих-то пятистах метрах до нашей избы поди не будет «гаишника», мать? – спросил Миша у своей счастливой Тани: на этот раз оставалась дома и, встретив Мишу, так теперь и светилась.

- А что ты о своем друге рассказывал? – напомнила ему Таня.

- Ну, тут же не Штаты, слава Богу! – тоном осудил Миша. И тоже как будто вспомнил. - А ведь, и правда: ты меня все спрашиваешь о Викторе... О Русском Мальчике. Это у них там был случай...

Так вот, пора, давно пора и о нём, но как мне сложить воедино все эти истории, столь необычные, как и та первая, которую тогда рассказал мне Миша: с камышинкой и с Паулюсом?

Чуть ли не в тот же год, как сын погибшего на войне, он попал в Суворовское училище и был там не только одним из лучших учеников – стал чемпионом Москвы по шпаге среди мальчишек и кандидатом в мастера по вольной борьбе у юношей. Мать не могла нарадоваться, но в выпускном классе он вступился за несправедливо, как он считал, отчисленного из училища друга, у которого под рубахой на груди увидели крестик... Пошла тяжба с начальниками, от меньшего – все выше и выше, пока какой-то из генералов не сказал ему: давай, мол, так, парень. Или он, или ты. Но кто-то из вас должен уйти.

Даете слово? – спросил Русский Мальчик. Даю, - сказал большой чин. И он поблагодарил его, и в тот же день написал рапорт об отчислении по состоянию здоровья.

Его отчислили, ему удалось сдать экзамены за десятый экстерном и, чтобы утешить бедующую с младшими мать, он поступил в Московский горный институт, после учебы в котором деньги тогда гребли лопатой...

Как называли его тогда: Московский «и г о р н ы й».

Что правда, то правда, там были лучшие преферансисты, потому что даже второкурсники возвращались с практики из Кузбасса или из Донецка с большими деньгами. Но к картам он не притронулся, Русский Мальчик. Пошел на курсы водителей и стал автогонщиком, выигрывал гонки на мотоцикле – Миша видел, что у матери в Немчиновке до сих пор стоят какие-то его кубки...

Вообще-то я думаю, это мама Русского Мальчика рассказывала ему так подробно о том, что хорошо знала, что было ещё у неё на виду: дружил, мол, с такою же безотцовщиной, с испанцами, – их тогда, и правда, было много в «игорном», детишками вывезенных из Испании и выросших в России детей «республиканцев» - и только к ней, когда большою компанией приезжали в Немчиновку, обращались они на русском, и её Мальчик тоже, а между собой все говорили на их языке.

Как это случается, когда, бывало, заедешь вдруг к матери старого товарища: пригорюнится, и – давай вспоминать...

Так, пожалуй, и тут. Как, мол, только не подрабатывал: на Сахалине ходил с геологами, в Архангельске пропадал в море с рыбаками, мыл золото на Колыме, весной на месячишко отлучался с занятий – на Алтае собирать для японцев черемшу да папоротник-орляк, а осенью задерживался в тайге – бить кедровый орех, шишковать... это она поди Мише доложила, что на целине, когда студентами ездили, работал не кем-либо – трактористом, что в стройотряде был сперва бригадиром у своих, а потом стал командовать чуть ли не всеми, которые были тогда в Москве, отрядами, комсомольцы его заманивали после учебы в большие начальники, дали талон на новенький «москвич», у него тогда был чуть не у первого, но он не захотел в Москве оставаться, уехал в Караганду, полез в шахту...

Это материно «полез» так и проскочило потом у Миши в наших с ним разговорах...

Но если бы только туда и «полез» Русский Мальчик!

В Караганде он пошел в аэроклуб, начал летать, да не куда-нибудь – на базу аквалангистов на каком-то тихом секретном озере... В Москве добился, чтобы в Университете на биофак его приняли заочно, начал писать какую-то работу, которая была, как понимаю, «на стыке наук», ещё студентом защитил кандидатскую и сделал открытие, позволившее потом стать доктором.

Между этими событиями был у него, как понимаю, не очень простой период: к открытию присоседились несколько академиков, в списке соавторов он оказался последним, и японцы, которые раньше других раскусили, до чего он додумался, одного за другим начали вызывать в командировку первого из череды авторов, потом – когда первый промолчал, как партизан на допросе, - второго и третьего, потратили на это почти два года, пока не догадались, наконец, пропустив ещё несколько фамилий, вызвать обозначенного последним.

Потом они якобы говорили Мальчику, что для них это было тоже своего рода открытие: только так они впредь и поступали – вызывали сразу же аутсайдера.

Потом он слетал туда ещё дважды, и после третьей, выходит, командировки вернулся оттуда с черным поясом каратиста.

Несколько лет он прожил в Москве, пытался перетащить к себе мать, но она заявила, что от огородика, спасавшего их всех от голода во время войны, она – никуда, да и внукам будет где потом спрятаться от городского шума и толкотни - тогда он полгода просидел на вечерних курсах при Тимирязевке и по весне перелопатил её огородишко: особым образом посадил пять картофелин, которые дали потом столько же мешков великолепной картохи, три куста смородины, с каждого обрывали по два-три ведра отборной ягоды, и три рожавшие в разное время яблони, засыпавшие плодами чуть ли не всю Немчиновку...

Миша посмеивался, когда рассказывал, что на этот ставший вскоре легендой огородик приходили взглянуть даже ученые из знаменитого института зерновых культур, который как раз и расположен в Немчиновке, но я поверил в это охотно, потому что к этому времени уже хорошо знал, что такое н а с т о я щ и й г о р н я к: ещё со времен Бергколлегии императора Петра Первого они всегда были на все

руки, и даже ещё в начале совсем недавнего от нас прошлого века в Московском «игорном» учили принимать роды.

Не знаю, зачем Русский Мальчик ходил вокруг света на океанографическом судне, не знаю, зачем торчал в Антарктиде и на Северном полюсе, а потом вдруг прошел с экспедицией по шелковому пути... И совсем плохо представляю, где это все с ним и с его другом, арабским шейхом, происходило в Африке, мое знание о ней сильно ограничено ещё с тех пор, когда в крошечном возрасте мне с большим чувством – с выражением, как говорили тогда, - прочитали известное: «Не ходите, дети, в Африку гулять!..»

Вот и не ходил, о чем теперь очень сожалею, потому что была у меня такая возможность, была – эх, как звал меня в Алжир Лёша Ягушкин, такая же, как и Русский Мальчик, безотцовщина, когда работал директором теплоэлектростанции, строящейся тогда на берегу моря в Жижели, как звали наши горновые, которые работали тоже в Марокко, в Анабе. А Ваня Алексеев, новокузнецкий землячок, тоже из тех, кто сам себя, эх, без помощи погибшего отца, сделал: приезжай, пока я в Конго – увидишь настоящую Африку... А Коля Шевченко, старый дружок, землячок-кубанец, который уже во время перестройки, будь не к ночи помянута, сумел один-одинешенек раскрутиться на монтаже в полубандитской тогда Нигерии: приезжай!.. И все было некогда, все на потом откладывал, но оно-то, это наше русское «потом» для многих из нас так и не состоялось...

Была, как понимаю, международная экспедиция, на которую кроме «штатников»-американцев, англичан и французов скинулись арабские страны, а Русского Мальчика пригласили уже как ведущего спеца по неким только им там понятным ученым тонкостям. Ими же занимался и молодой шейх из Арабских Эмиратов, на почве чего они и сошлись.

Когда из-за каких-то административных неувязок одна западная фирма отозвала пилота, возившего их на гидросамолете, он «полез» и туда, Русский Мальчик. Сел в кабину, посадил рядом шейха, и со всею амуницией для глубоководного погружения они вылетели, как собирались, на несколько часов, но для шейха это время растянулось на три месяца, а для Русского Мальчика – на два года...

Подробностей, по-моему, не знает и Миша, а, может быть, друг его попросил не очень распространяться на эту тему. Так или иначе, их с шейхом захватили какие-то шустрые африканские ребята на быстрых

лодках, бросили в кутузку и стали ждать богатого выкупа... Но шейх, видать, тоже был неслабый паренек: когда Русский Мальчик предложил ему месячишко-другой потерпеть одному, потому что вдвоем было не уйти, он согласился без лишних разговоров.

Вот тут и начинается история с иностранным легионом.

Русский Мальчик добрался до него в соседней стране, его отвели к полковнику, и они начали мучительное объяснение на ломаном английском, но когда этот шеф головорезов выругался в сердцах по-испански, Мальчик начал декламировать ему Лорку, и тот, ошарашенный, сперва долго слушал, потом разлил по фужерам виски, и они начали трехдневный не всегда научный симпозиум по испанскому языку, в результате которого было решено: в свободное от работы время и на сэкономленные средства, от тюрьмы, где дожидается шейх, полковник со своими парнями не оставит камня на камне, потом его вывезут в ближайший международный аэропорт и отправят к папе-шейху и маме-шейхине, но за это Русский Мальчик два года прослужит в легионе: случается иной раз, душа просит – надо же полковнику с кем-то поговорить на языке его предков-басков.

Они ударили по рукам, и все так и было: Русскому Мальчику, хоть было ему в то время за пятьдесят, пришлось, что называется, потрянуть стариной. Полузабытая, с царапиной в душе суворовская выучка на скупой африканской почве щедро вдруг проросла – через два года он имел генеральское звание и в какой-то полумифической, но чрезвычайно богатой золотом и алмазами африканской стране командовал вооруженными - не надо думать, что одними лишь копьями – силами.

Конечно, его подпирал дружеским плечом испанский полковник, не раз уже предлагавший ему сменить страну на более обширную и с гораздо большим запасом полезных ископаемых, и Русский Мальчик, в котором вновь пробудился старинный дух сибирского рудознатца Михайлы Волкова, пережил мучительное искушение, но все ж таки решил: пора и честь знать...

Испанскому полковнику пришлось выучить и это присловье – вдобавок к тем двум, которые он произносил уже без акцента: «пуля дура – штык молодец» и «договор дороже денег».

На прощанье весь разноплеменный лагерь головорезов хором спел очень подходившую к их беспокойному житью песню «Полно вам,

снежочки, на талой земле лежать». Этой песне мама Русского Мальчика научила еще в детстве: рассказывала, что это была любимая песня его отца.

Для меня и раньше было приблизительно ясно, откуда в Русском Мальчике эта закваска, но после того, как узнал о прощальной песне, окончательно убедился, что отец его был кубанский казак. Что мама – сибирячка, я знал уже и до этого...

Судя по тому, как после самой долгой отлучки сына, она набросилась на него, только что командовавшего вооруженными силами не последней по масштабам африканской страны, со старым брючным ремнем, характер и у неё будь здоров. Он попросил её обождать и начал покорно снимать штаны, после чего она всплеснула ладонями и набросилась уже на его жену: почему она терпит своего непутевого муженька, почему не бросит?

Бросила бы, ответила та. Если бы не пятеро ребятишек.

И Мальчик, рассказывал Миша, обнял её и сказал: зачем ему три жены в Эмиратах, если единственная у него в России – такая терпеливая умница? От жен придется ему, как не жаль, отказаться, а виллу на берегу Атлантического океана он, так и быть, примет в дар, иначе шейх на него обидится, и прав будет: лучшие из обычаев предков надо свято блюсти и сегодня.

К этому времени они успели выяснить, что мама шейха – черкешенка, что по родителям, выходит, они земляки, и сделались вообще – не разлей вода.

Известное на Кавказе дело: вместе тесно, а порознь скучно.

Но начали мы эту главку с того, что совсем недавно приключилось с Русским Мальчиком в Штатах.

Собственно, началось не с него – с невезучего земляка, бедолаги, с гениального, как он Мишу уверял, неумехи и недотепы, который ничего толком не знал, кроме этой хитромудрой, на семи стыках, науки, ради которой, как на семи ветрах, жили они в отдельном городке для специалистов из России.

От этой своей непригодности, сдобренной изрядною долей ностальгии, гениальный землячок попивал и регулярно на чем-нибудь ну, совершенно азбучном, попадался, и вся его очень приличная по контракту зарплата уходила на штрафы.

Вести с ним воспитательные беседы давно уже было поздно, и Русский Мальчик предпочел по душам побеседовать с барменами из

близлежащих заведений: не могут ли они, прежде чем плеснуть его земляку, напомнить, что по здешним законам он должен сперва поставить машину возле дома?..

Однажды эта жалкая личность, этот гениальный простака по дороге в городок остановился чтобы купить пачку сигарет, но бармен протянул ему рюмку.

- Я должен сперва поставить машину, - сказал наш Иванушка-дурачок.

- Сколько тут осталось? – дружелюбно спросил его бармен. – Не больше ста ярдов. Неужели мистер не дотянет?

Иванушка ещё занюхивал несчастные пятьдесят, а бармен уже звонил знакомому копу: встречай, Джон!

Иванушку схватили почти тут же, как сел в машину и припаяли ему, поскольку штраф был не первый, по полной программе. Чего иначе было стараться: с каждого сообщения в полицию шел процент позвонившему, с каждого задержания – полисмену.

При всей недотепистости наш Иванушка понял, что его обложили, и засобирался домой, но Русский Мальчик, когда узнал об этом, бросился в бар и кинул на стойку столдолларовую бумажку.

- Плачу тебе за то, чтобы ты хорошенько усвоил, - сказал американцу. – Ни в одном последнем русском «змеятнике» ни одна последняя сука так бы, как ты, не поступила.

- Что такое «змеятник»? – спросил бармен.

И Русский Мальчик пальцем поманил: наклонись.

Ещё ближе пододвинул к нему купюру с портретом отца-основателя самой продвинутой в мире демократии и ударил в челюсть – прямым...

Повторялась старая его, «суворовская» история. В записке, обосновывающей расторжение своего очень дорогостоящего контракта, он написал: как вольный гражданин новой России, твердо избравшей теперь путь свободы, он не может себе позволить оставаться в стране с тоталитарным режимом, научающем соотечественников стучать друг на друга. В его положении руководителя исследований это тем более неприемлемо, что русский ученый, на знания которого в общей работе он опирался, всеобщим фискальством окружающих доведен до отчаяния и тоже, насколько ему известно, собирается разорвать контракт.

Иванушке он запретил возникать, приказал терпеливо ждать повышения, и все оставшиеся до отъезда дни вдалбливал ему свои наработки, которые тот воспринимал не только с радостными восклицаниями – каждую тут же торопился развить.

- Но главное, что ты должен запомнить, - сказал ему на прощание Русский Мальчик. – Объезжай стороной этот поганый бар, а при виде копа вспоминай меня и выражай на морде презрение вдвое больше того, которого он, и в самом деле, заслуживает!

Самое интересное, что Иванушка, сменивший его на посту руководителя международной исследовательской группы, до сих пор живет в Штатах...

4.

Но почему я подумал, что Русский Мальчик – сам Миша?

Да потому что был он такой же, как тот безотцовщиной, чем только уже в раннем детстве не промышлявшей, чтобы хоть чуть помочь матери, чтобы спасти от голода младших, а после, когда стал старше, - одеть их, обусть, выучить... Начинал он тоже с суворовского, но его-то отчислили, и в самом деле, из-за здоровья – свалил туберкулез. Уже помиравшего, его забрал в дальнюю станицу друг погибшего отца, безногий инвалид, откормил собачатиной, долго потом обучал рыбацкому да охотничьему делу и на прощанье подарил берданку, такую древнюю, что никто не принимал его с ней в кампанию: уж если разорвет, говорили, - пусть покалечит тебя одного...

Но в этих своих походах за дудаками, в наших краях их было много после войны, за перепелкой, за болотной птицей, за зайцами он так окреп, что в армии его зачислили в десантники, в какую-то особую часть, в которую во время Карибского кризиса отозвали потом с рыбацкого траулера. Их посадили на сухогруз с оружием, который американцы потихоньку отправили на дно, и с десятком таких же бедолаг он две недели болтался в океане на единственном, оставшемся из пяти, резиновом плотике.

Может, именно в это время он возмечтал о другой, о красивой жизни, и дважды потом его проваливали на экзаменах в МГИМО, поступил с третьего захода, но почти тут же ушел в академический отпуск: жизнь как будто нарочно испытывала его – ещё задолго до того, как она взялась потом за нас всех...

Или не только Русский Мальчик так начинал, не только Миша – их были тысячи... да что там! Были миллионы этих полусирот, в лучшем случае уходивших в «суворовцы» или в «нахимовцы». В те времена удачей было устроиться в городе в школу «фабрично-заводского обучения» - ФЗО, везеньем – поступить в «ремеслуху». И счастьем было дотянуть до десятого, чтобы пойти потом в самое престижное по тем временам военное училище: летное...

Может быть, наше поколение вообще – поколение навсегда улетевших из дома?

И Русский Мальчик, приручивший диких гусей, понимает это лучше многих других и хочет таким вот образом оставить по всем нам память?

Потому что иной не будет - скоро, скоро её сотрут. Тоже – навсегда. Но сперва ещё несколько слов о нас...

5.

Мой отец вернулся с войны, и чем больше с тех пор проходит времени, тем лучше я понимаю, что для меня самого, для младшего брата и сестрицы, которая родилась уже в победный год, это было самое настоящее счастье...

Отца давно уже нет, умер от старых ран, но я все чаще возвращаюсь к той далекой минуте жестокой зимы сорок третьего, когда мы с братцем сидели рядком на давно остывшей печке, а в комнату вошел обросший солдат в низко надвинутой, с опущенными клапанами, ушанке и в черных очках и, постукивая по з е м и, по глиняному полу тросточкой, глухо проговорил:

- Есть тут кто-нибудь?

Как он нашел лежавший у порога под камнем ключ? Мама с бабушкой, не дай Бог, пожар, оставляли его для соседей.

Старший, я набрался храбрости:

- А вы кто, дядечка?

- Валерик тоже тут? – он спросил. – Я – ваш папка!..

Шагнул к печке, и Валера, который ещё мало что понимал, потому что шел ему только третий год, закричал так, что крик этот как будто до сих пор у меня в ушах.

Через пару лет зрение у отца поправилось, снял темные очки и под вешалкой в углу поставил палку. В беседе ему выдали светлокориичневую канадскую шубу: брезентовый плащ с большими

накладными карманами и теплой даже на вид, из великолепной белой цигейки, подстежкой – её потом постелили в танечкину кровать...

Несколько лет он был районным прокурором, и, как инвалид, добился увольнения, когда стали пачками сажать за кражу кукурузного початка или пары картофелин. По малолетству я мало что знал тогда о службе отца, и слава Богу: из всей нашей дружелюбной родовой больше всех остальных отличался тягой к общению. «Душа нараспашку», «не можешь держать язык за зубами» - по станичным меркам это были самые деликатные из тех определений, которыми нет-нет, да награждали меня родители после очередной «утечки информации» о строгой службе отца.

Потом я написал об этом в рассказе «Отец» - как на его похоронах мужчины чуть старше меня рассказывали: «Милицанер к нему приведет, а он: ну-ка выйди, дай нам поговорить. Заявление порвет и – в корзинку. Снимает с себя широкий ремень: видишь?.. Буду - по столу, а ты ори как резаный. Плохо будешь орать – придется по заднице.»

И только когда его не стало, открылся мне ещё один его маленький секрет...

Тогда-то я удивлялся: зачем он так?

Идет навстречу заморыш от горшка три вершка – сопли по колено. Скажет ему для станицы положенное: «Драстути, дядечка!»

А он так громко и с расстановкой ему отвечает:

- Здравствуй, здравствуй, парень красный!

Да так важно! Да так торжественно!

Некоторые из таких соплестонов, пока он на работу шел, успевали и дважды, и трижды забежать ему навстречу, чтобы только улышать:
п а р е н ь к р а с н ы й!

Чудики! – мне казалось.

И чего им отец потворствует?

Отца уже давно не было в живых, когда однажды в Шереметьево, в аэропорту, после проведенной вместе недели, мы прощались с улетающим к себе в Швейцарию казаком- эмигрантом Петром Величко, и он, немногим старший, но куда больше знавший о старых кубанских правилах, крепко обнял меня, отстранился и, посмотрев орлом, твердо сказал:

- Грею тебя боевым взглядом, Гурка!

Глянул на меня так, будто, правда что, - щит вручил.

И тут вместе с неожиданно кольнувшими уголки глаз слезами обо всем навсегда нами утерянном, до меня вдруг дошло и это: он тогда, холодных-голодных, грел их сердечным голосом, отец, – доброжелательной интонацией, которой они до этого ни от кого и нигде не слышали... Да и многие ли из них слышали уже после?

В станицу приехал новый прокурор, из Армавира, после года опалы отец стал сперва председателем «Артели инвалидов «Социализм», и по рельсам районной номенклатуры долго катил потом из одной конторы в другую. Мы не только не бедствовали – помогали всей остальной родне. Кому-то отец доставал сено для коровы, за кого-то в собесе хлопотал или писал «в край», кого-то устраивал на работу. Мать занималась одним и тем же: накладывала в тарелку горку горячих пирожков или начерпывала в кастрюльку борща, и с кошелкой, в которой стояла «передача» мы с братом неслись в разные концы станицы – в разные, если по нашему, «кутки». «На май», «на седьмое», а то, бывало, и в обычное воскресенье, дома у нас накрывали стол на всю родню... Господи, как у нас было тогда тепло – когда отец пришел с войны, а дядя Жора, младший брат мамы, вернулся из Магадана, и оба они ещё держались: попивали, но вглухую не пили.

Мама росла сиротой и поэтому не только отдаривалась от помогавших ей с меньшим братом в голодные годы – она как будто старалась отблагодарить судьбу и за возвращение отца, и за то, что может теперь пригреть и свою бабушку, и тётю, оставшуюся без мужа, Василия Карповича, могилу его я все-таки разыскал потом в Польше под Белостоком, - нашу «крестненькую», которой, перед тем, как придем к ней рождествовать либо «посевать», давала деньги нам на подарки.

Если кто-нибудь из школьных дружков приходил ко мне «заниматься», - вместе делать уроки – она усаживала обедать, а когда мне кричали с улицы и я собирался, не успев доест, выскочить со двора с ломтем хлеба, она непременно останавливала:

- Ну, куда, куда?... Или оставь кусок, или обязательно поделись!

То же самое исповедовал отец, стольким в станице помогавший: недаром его, младшего лейтенанта, ребята чуть помоложе годами величали Комбатом.

Когда я пошел в десятый, и в школе стали поговаривать, что «тяну на золото», он туда зачастил было, и однажды я ему сказал что-то

такое: мол, понимаю, па, ты обо мне печешься, но давай-ка с тобой договоримся... Я сделаю все, чтобы медаль, и в самом деле, была, но ты, пожалуйста, не вмешивайся в это: когда я домой пришел, когда спать лег, какую читаю книжку. И не ходи, пожалуйста, в школу!

- Не забывай, что в школе ты учишься не один, - сказал он не только твердо, но как бы с некоторым оттенком презрения ко мне, обутому-одетому и сытому «маменькиному сынку» - много лет потом, став постарше, вспоминал я этот его осуждающий меня, уничижительный тон. – Меня избрали председателем родительского комитета, и я отвечаю за детей погибших фронтовиков. А о тебе, если так хочешь, я вообще никого не буду спрашивать, даю тебе слово.

Дома он почти перестал со мной разговаривать, и его непонятная тогда обида на меня не прошла и потом, когда медаль я, и в самом деле, получил и дома стали решать, как мне быть дальше. Он соглашался дать денег только до Краснодара – поступать в медицинский, или, в крайнем случае, до Ростова – в железнодорожный институт. Но тут как раз выпал тысячный выигрыш на облигацию, подписанную его рукой: «мамина.»

И мать отказалась купить себе долгожданное золотое кольцо, сходила в сберкассу и пришила мне на трусы карман – эту самую надежную в мире «барсетку».

В Университете в Москве я смотрел на ровесников, оставшихся в войну без отцов, как бы уже иными глазами, тоже старался подрабатывать, и через два года, когда с философского факультета перешел на «журналистику» почти тут же получил «индейскую» кличку Потный Мокасин: за то, что с утра до вечера мотался по редакциям, разносил свои крошечные цидулки – «подхалтуривал».

Именно в это время появились в Москве первые фельетоны о детях богатых родителей, о «плесени» - «золотой молодежи».

Была она и на нашем факультете, была на курсе...

Зато каких бессребреников встретил я потом на своей ударной стройке в Сибири, куда, и действительно, приехал добровольцем – ну, как тут иначе, как проще скажешь... Какие голодранцы, какая голь перекатная стала к нам потом прибывать: эшелонами. И какие то были парни! Какие девчата!

Вот уж где было поприще для характеров, в обычае которых были малозаметная сызмала, но развившаяся здесь во всю ширь артельная

спайка, бескорыстное братство, заступничество за младших и за обиженных!

Тогда я этого не сознавал, но, может быть, как завет поколению, как сокровенный, на который нельзя не откликнуться, пароль, всё продолжал звучать в душе этот послевоенный крик полуголодных сверстников: «Сорокуха!..»

Это для скорости.

А так: «Оставь сороковку!», «Дай сорок!»

Не половину куска, который принес в школу или с которым появился на улице, - меньшую его часть. Как бы сорок процентов, хоть о процентах мы тогда не имели понятия.

А ведь было ещё на улице и тут же торопливо сказанное получившему «сорокушку»: «Сорок от сорокухи!» «На пол-кусаки!»

И совсем уже жалкое: «Хуть крыхточку!»

Может, все это ещё продолжало звучать в душе – мой первый роман – «Здравствуй, Галочкин!» - был о детдомовце, о конфликтующем с комсомольскими «маяками» правдолюбце из «несоюзной молодежи», приехавшем на большую сибирскую стройку якобы «за длинным рублем».

А он за правдой туда ехал, тот мой первый герой.

Как большинство из нас.

С нами так вышло, что мы, привыкшие по-братски помогать своим сверстникам, по-отцовски - тем, кто моложе, поздно вспомнили о своем родительском долге и упустили потом собственных детей – ради названных.

Может быть, то же постепенно произошло с теми из наших старших, кто жил после войны ещё долго, о многом успел забыть, стал к себе слишком снисходителен и любвеобилен уже ко внукам – также, как и мы, минуя детей своих?..

Мальчики, мальчики!..

Теперь-то многих из вас уже нет. На торжественных, круглым датам посвященных вечерах - без них пока не обходятся новые хозяева громадного металлургического комбината, который мы всем скопом отгрохали – путают ваши имена, перевирают фамилии, и звонкие голоса ведущих, пытающихся говорить ну, прямо-таки о преемственности трудовой славы, звучат настолько фальшиво, что

настоящие-то добродетели, рачители и радетели - а сколько, сколько их было! - мучительно ворочаются в гробах.

Мы росли под звуки пионерского горна, а молодость многих отгорела потом у доменного горна... Тогда мы мало задумывались, что есть другие слова: горний – духовный – мир. Есть г о р н я я – небеса, куда отлетают души праведников.

Сколько из вас, мальчики, хоть не носили на шее крестика, сердцем были чисты и жили высокими помыслами!.. И каково вам из благостной, со всем примиряющей г о р н е й видеть состарившихся подружек юности, которые в любимом нашем поселке, теперь полуразвалившемся, с несвежими полиэтиленовыми мешками в руках обходят грязные свалки: в один – что можно доесть, в другой – что ещё можно доносить...

В силу общительного характера, природного любопытства и стародавней казачьей способности прирастать корнями к дальним краям я дольше многих других оставался у ярого огня, который беспощадно сжигает всех, кто вблизи, но чуть ли не родственным теплом согревает стоящих поодаль простодушных зевак... И временами мне становилось совестно перед теми, у кого нет этой возможности: из жестокого плена сегодняшних обстоятельств хоть ненадолго вернуться на волю нашего прошлого.

Пытался оправдывать себя тем, что это как бы неременное условие профессии: за всяким действием наблюдать от начала и до поры, пока хватит сил... Недаром о тебе ещё с давних пор: мол, л е т о п и с е ц. Так неужели сопутствующие этому некоторые преимущества напрочь исключены?

Но ждала меня расплата за них, ждала...

6.

На празднование 45-летия «первого колышка» в Новокузнецк, давно ставший родным, в нашу Кузню, приехал на месяц раньше: хорошенько подпитаться весенней народной кормилицей – черемшой. Медвежьим чесночком. Диким луком, который ещё с древнеримских времен известен как «алум викториалис» - «лук победителей».

В Кузне предпочитают название проще: колба. Здесь бытует стишок-наставление: «Ешь колбу при каждом блюде – пусть шарахаются люди!»

И целый месяц я жил этим – ну, совершенно в духе общечеловеческих ценностей - заветом, в обед и вечером съедая по объемистому пучку сочных, в самой поре, длинных стеблей – амбре от каждого дыха после этого можно смело приравнивать к хорошенькой дозе применяемого ОМОНОм спецсредства «черемуха»... Но настоящий кузнечанин от аромата колбы, выражаясь языком нынешних тинейджеров, тащится... или тут больше подходит: т о р ч и т?

Те, кто давно знаком с целебными свойствами черемши, наверняка остановятся, конечно же, на этом последнем определении, и я вот, размышляя сейчас над всем этим, даже подумал, что отсюда скорее всего родилось и её латинское название: ведь у настоящего победителя все должно быть торчком.

Как же мог я без крутого запаха нашей колбы оставить своих московских дружков – либо чалдонов, по тем или иным причинам прервавших свой стаж, либо и вовсе, вроде меня самого, несостоявшихся?

Майская черемша продаётся в Кузне на каждом углу, но я целыми днями искал особенную, и однажды мне пришлось вести долгий ученый спор с двумя элитными бомжами и очаровательной «синеглазкой», их боевой подругой с подбитым лицом: надо или нет на колбе срезать листья, оставляя только стволы? Чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону, но в конце концов я ушел от них с ношей, похожей на объемистую вязанку кукурузенья: эти трое были поставщиками новосибирского Академгородка и каждый день отправляли в Золотую долину по десятку коробок для лучших умов Отечества – это мне просто повезло, что в этот раз у них случился остаток.

Скоро я чуть не наперечет знал ведущих колбовщиков: кузнецких татар из Мундыбаша и русских передовиков несуществующих нынче многочисленных производств, каждый день совершающих печальный свой трафик за дарами природы в тайгу и обратно...

Тоже с многочисленными коробками ехал потом утречком в аэропорт и вручал их смущенным таким доверием юным созданиям, а то почему-то им же, доверием этим, недовольным крутым

бизнесменам или большим начальникам, от которых от самих предательски попахивало продуктом, какой они сперва категорически отказывались сопроводить в белокаменную.

Как человек, не раз это переживший, должен сказать, что забота об этих не для всякого носа приятных передачах значительно обостряет чувство сибирского братства... Или необычайный душевный подъем испытывал ещё и потому, что к этому времени уже начал писать «Русского мальчика», и, задетая началом, струна теперь продолжала во мне звучать всюду, и, бывало, - не по тому ли самому закону вредности? – особенно напряженно и тоненько звенела как раз тогда, когда по разным причинам не мог сесть за продолжение рукописи...

В поездках мне обычно не очень-то хорошо работалось, но думалось особенно плодотворно, и детали рассказа выплывали теперь из небытия, в котором уже заждались своего часа, и прямо-таки слышались иногда обрывки будущих – на самом деле, конечно же, бывших когда-то давно, а то и очень, очень давно – разговоров.

Так бывает, когда с головой уходишь в работу: герой твой сперва начинает посещать тебя в кабинете, потихоньку сидит себе в уголке и молча на тебя смотрит, а потом выходит вместе с тобою прогуляться, а то отправляется в магазин за пачкой чая или в киоск за газетами...

Но не мог же Русский Мальчик отправиться за мною в Новокузнецк?

В-первых, как у человека вполне реального, у него свои дороги, о которых в лучшем случае могу только потом узнать от Миши или от него самого, если Миша, наконец, нас познакомит... У него свои дела и заботы, о которых я, конечно же, не имею представления, и свои думы.

Но откуда же это все чаще возникающее во мне ощущение, что он – рядом? И на Кубани, на Кавказе, который когда-то звали «тёплая Сибирь», и – в настоящей, с жестокими холодами, Сибири...

7.

Пожалуй, он тоже из тех самых мальчиков, о которых нынче беседуем...

Та же самая безотцовщина, которая людей порядочных делает потом заботливыми о младших до неожиданной, до русской слезы...

Познакомились мы, когда он, будучи замполитом в областном управлении внутренних дел, написал мне в Москву письмо с просьбой разрешить инсценировку романа «Пашка, моя милиция»... что ты тут будешь делать?!

К этому времени по личному распоряжению председателя союзного Комитета по кинематографии Барабаша, самолично прочитавшего сценарий будущего двухсерийного фильма, «Пашку» сняли с производства на киностудии в Одессе, а он там, понимаешь, в зачуханной своей Щегловке, в э т о й К е м е р о в о й, поставит пьесу!

Дал телеграмму, что согласен, и тут же забыл: для меня начались тогда грустные времена, не до того. Но уверенность в том, что острый по тем временам роман сибирской глубинке не по зубам, так во мне и жила. И тут как раз, в последний приезд в Кузбасс неожиданно встретил человека куда моложе, который так и представился: мол, «парень с гитарой» из инсценировки вашего «Пашки», песни сам тогда для неё сочинил – они у вас есть? И подарил кассету.

Как водится, я начал «отматывать» и разыскал в нашей Кузне бывшего замполита: пожать руку. И тут мне вдруг стало приоткрываться... как это назвать? Добровольное шефство? Гражданская миссия?

Он не был профессиональным «ментом»: его, учителя истории, «партия послала на передний край».

О, терминология тех времен!..

Её уже, считай, нет, партии. Сам он давно на пенсии и занят другим делом. Но школа, школа... Какая? Чья?!

- Им сейчас в милиции трудно, как никогда, - взялся мне объяснять. – Пожалуй, ещё и не было таких ножниц между словом и делом. Если бы они все это – только на своей шкуре... А – на своей душе? Когда карманника он должен за пятак – за решетку, а кто из общей казны миллионы взял, тот пусть гуляет... Как им сегодня жить-то? Как поступать?

И взялся мне рассказывать о созданной им тогда впервые в России ипотечной системе покупки жилья в рассрочку: специально для тех, кто воевал в Чечне либо в других горячих точках. Чтобы не пропивали заработанное своим здоровьем и собственной кровью.

- А ты нас бросил, - сказал вдруг без всякого осуждения, как-то уж очень безразлично сказал.

Но лучше бы осудил.

Я стал что-то такое бормотать: мол, нет, нет, когда-то чуть ли не первый написал правду о новокузнецких омовцах, которых за несколько сотен чеченских долларов смертельным огнем накрыли владивостокские морпехи...

- А у Добижи давно был? – спросил он. – Мы с ним как-то тебя вспоминали... Он после гибели ребят никак не отойдет.

Немногословный, улыбчивый Сергей Добижа, работавший когда-то воспитателем профтехучилища в нашем поселке, как раз и командовал тогда сводным отрядом из Кузбасса – чудом остался жив.

Во мне только начало виновато проклевываться чувство полузабытого товарищества, которое связывало когда-то со многими из новокузнецкой «ментовки», а он вдруг как о деле решенном сказал:

- Полковника Полуэктова ты не знаешь, но он-то тебя – давно. Начальник высшей школы милиции, с некоторых пор она у нас на правах юридического института. Хочет устроить конференцию по твоим книжкам... или как там? Одним словом, встречу... Как им в объявлении написать?

- А пусть так и пишут, - поддразнил его. - Одним словом, встреча.

- Все шутишь, а вот побываешь у них – увидишь, как он из своих ребят старается настоящих людей сделать.

- И ему это удастся?.. По нашим-то временам?

- А вот потому он и зовет тебя, Полуэктов...

У самого у него тихая, почти ласковая фамилия – Саушкин, такие мне всегда нравились, в книжках наделял ими людей добрых и безответных, страдальцев беспомощных, но откуда в нем эта непреклонность, эта собранность... мало знал его? Это само собой. Но чутье, куда его денешь, не то чтобы подсказывало – говорило прямым текстом: э т от Саушкин - из тех, кто в минуты всеобщей растерянности становится только хладнокровней, только уверенней в себе...

Ради других.

Это было заметно в нем, вот в чем дело!

Почти сразу с ним стали на «ты», но будто по молчаливому уговору имя-отчество уважительно сохранили друг дружке полностью.

Как-то на полушутке спросил его: скажи-ка, Александр Павлович!.. Это, мол, что: темная наша якобы не только от заводской копоты

Кузня выковала в тебе этот стерженек? Откуда он – в тихом-то преподавателе истории?

- А ты считаешь, история ничему не учит? – печально спросил он. – Особенно наша – русская?

Потом состоялась, наконец, эта «одним словом, встреча», давно у меня таких не было, а, может, не было до этого никогда, и даже много, много слов, боюсь, не смогут выразить, что я во время неё почувствовал и от чего до сих пор не могу избавиться. Это ведь возникшая тогда в зале атмосфера пылкой искренности, взаимного понимания печальных истин и ваша жажда чистоты, мальчики, заставляют меня и сейчас говорить мало кому теперь нужную и, по нашим временам не только небезопасную - губительную правду...

Перед теми, кто на такие встречи приходил, никогда не таился; на неподдельный интерес всегда отвечал полной самоотдачей; о том, что пишу, обо всех, кого знаю, в чем убедился и что исповедую, отвечал со всею возможной откровенностью... Но так, видать, настодоела всем государственная фальшь и всеобщее наше придуривание, что естественные для здоровой души свойства сделались чуть ли не дефицитными – на доброе, на чистосердечное слово будущие суровые «стражи порядка» потянулись доверчиво, как молодые подсолнушки к проглянувшему сквозь хмарь лучику... да милые вы мои!

Как тут было не расстараться!

О чем я им только не рассказывал: и как начиналась стройка да почему я «Пашку» написал; какие талантливые поэты, ставшие потом известными не только Москве – всей стране, работали тогда в нашей – не выговоришь натошак! – газетенке «Металлургстрой» и какую свободу мы в ней себе позволяли; как с молодыми литераторами, сам тогда молодой, гостил в Вешенской у Шолохова и как в награду за рассказ «Хоккей в сибирском городе» в одной группе с тренерами и судьями ездил в Мюнхен на чемпионат мира; как снимали по моей повести в родной моей станице кино, и как помогал писать книжку воспоминаний конструктору автомата Калашникову; как на десантном корабле сопровождал в Грецию, в Салоники наших миротворцев и помогал севастопольскому батюшке, отцу Георгию крестить на борту матросиков – был у него пономарем; как, не зная языка, а только перечитав горы книг по истории Кавказской войны, перелистав горы документов, по душам поговорив с

неиспорченными, несмотря ни на что, аульскими «старшими», достойно «перевел» - на самом деле, довёл до ума - известный теперь в адыгском мире роман и почему вообще подолгу живу на Северном Кавказе; зачем совсем недавно участвовала в выборах в Государственную Думу кандидатом по одномандатному, но, прямо сказать, многобандитному округу – в шахтерском Прокопьевске. В П р о к о п е... чего только, и правда, не может приключиться с излишне любопытным и скорым на решения человеком за шесть с половиной десятков-то лет!

С полушутливой дотошностью будущих следователей кое-кто из них взялся проверять слухи и рассказы о нашей старой новокузнецкой компании, и тут я тоже был совершенно открыт, повторив свою придумку: мол, ничего не поделаешь! Кузбасс – моя и с т о р и ч е с к а я р о д и н а, да. Здесь столько историй обо мне рассказывают, что сам уже не пойму, где было, а где сильно поприбавили: давайте-ка разбираться вместе.

В кармане у меня и без того уже лежала пачка записок, но как они меня потом окружили!

- Я осетин и много слышал о наших джигитах, о Кантемировых, но так, как вы о них рассказали! – растроганно протягивал руку симпатичный молодой усач. - Спасибо вам: так, и правда, можно только о близких людях, спасибо!

- Примите в подарок эту фляжку с крепким напитком, - настаивал явный русак. – Поймите правильно: в свое время только потому пошел в училище, что прочитал вашего «Пашку»!

- Рассказывали, как вам друг-еврей шашку подарил, - улыбался скуластый крепыш и протягивал искусно сделанный перочинный нож. - От татарина... мелочь есть у вас? Отдать за подарок.

Я был в осаде... Стоявший чуть поодаль полковник Полуэктов поглядывал на меня весело и значительно, как победитель, который решил не только даровать мне жизнь, но дать немалый чин в своем войске... Рядом стоял его штаб, трое симпатичных молодых женщин, трое кандидатов наук: истории, психологии, литературы – это они, как я уже понял, разрабатывали тактику и стратегию нашей встречи.

(Кроме них в зале были ещё и женщины-преподаватели, и служащие этой школы: перед одной из них должен повиниться...)

Вспомнила мою старую-престарую «таёжную» сказку «Зима на носу»: у них, мол, дома она настолько истрепана уже несколькими

поколениями детишек, что читать почти невозможно, приходится пересказывать по памяти... Почему таких добрых книжек теперь не издают?

Конечно же, я растрогался, конечно, пообещал: вернусь в Москву и вышлю ей один из двух экземпляров, которые приберегаю для внуков.

Так и не выслал.

Не потому, что – трепло.

Чтобы хоть как-то сегодня перебиться, две комнаты мы сдаем, а третья настолько загромождена снесенной сюда мебелишкой, купленной когда-то еще в Новокузнецке, заставлена картонными коробками с вещами и с посудой, завалена книгами, что найти здесь что-либо практически невозможно... Сколько раз, заскочив на часок домой, я все оглядывался, все прикидывал: где эта книжечка с шутовым названием, которое для стольких из нас оказалось таким горько-пророческим?.. Ведь весеннего тепла на нашей родине пока не видать!

Простите мне, милые землячки, простите, что жалким рассказом о себе роняю мужской престиж, который и без того нынче невысок... Но это – исключительно из уважения к вам и только для вас. Как нынче модно у этих-то: э к с к л ю з и в.)

Потом Полуэктов – вот кто, показалось мне, н а с т о я щ и й п о л к о в н и к! – подвел ко мне чуть смущенного человека средних лет, показалось - знакомого:

- К вам тут – «лесные братья»...

Не сразу, но понял, наконец: здесь же, параллельно с высшей школой милиции, находится «среднее» училище – для солдатиков внутренних войск, для лагерной охраны, за которой давно уже и закрепились эта полушутливая и, конечно, чуть высокомерная кличка...

Их не предупредили, что будет встреча с писателем, остались без внимания, а кому не ясно, как им в глухой-то тайге приходится? Нельзя ли завтра «мероприятие» повторить?

Скольких, скольких из них знал я по старым поездкам в отроги Кузнецкого Ала-Тау, в Горную Шорию, скольких помнил по совместной охоте... Разве не ясно, к а к они там, ч е м они там по своим-то медвежьим углам живут?

Как же «лесным-то братьям» откажешь?

И на завтра они явились в зал в полном составе. И вновь пришли многие из тех, кто был вчера...

Опять были такие доверчивые глаза, сочувственные улыбки, всё понимающие лица... одно из них, в глубине зала вдруг показалось таким знакомым: совершенно седой человек с молодым, смеющимся взглядом. Русский Мальчик?!.. Таким он в моем представлении был давно уже... Но откуда тут? Среди «лесных-то братьев»?

Как они, и правда, внимательно слушали!

Обманывать вообще – грех, но этих-то, так распахнувших душу, этих-то!

Эх, кабы всегда оставались такими!

Конечно, опять я, что называется, выложился...

Привыкший дело иметь всё больше с бумагой, на которую, бывает, и капнет слеза – может быть, чего-то я не учел, чего-то в себе не предусмотрел?

Бывало, в долгих писательских поездках, когда отказывался выпивать за общим столом, почти потрясенные этим фактом хозяева спрашивали: мол, а как же отблагодарить за труд? Чем уважить?

И я без всяких говорил: если не сложно – хорошей парилочкой!

В каких только удивительных русских баньках в полном одиночестве не побывал я: с широкими полками из лиственницы, такими ладными и чистыми, что хотелось на них остаться жить, с бадейками из осины, с только что вынутыми из стожков пахучего сена, где они пластами хранились, березовыми вениками с вложенным внутрь зверобоем и тысячелистником либо полынью, со спелой соломой на прохладном полу предбанничка и логунком кваса с ковшиком наплаву - в углу...

Одно время все эти баньки я прямо-таки коллекционировал в памяти и все собирался об этой коллекции написать: начиналась бы она с Канска – крепенького таёжного городка на севере Красноярского края... Или все-таки со старинного села Кузедеева под Новокузнецком, со столицы реликтового «Острова черной липы»?..

Может быть, и в этот раз надо было заранее баньку попросить?

Потому что завтра должен был состояться праздник, ради которого в Новокузнецк я приехал, а душа моя и без того раскачивалась уже в таких звонких высях!

Комбинат наш только что пережил очередной передел собственности, потихоньку привыкали к новым хозяевам – компании «Евразхолдинг»... Привыкали по-разному.

Мне сперва показалось необычным, что многолетний помощник всех «генералов» - генеральных директоров комбината - Александр Сергеич, строгий и четкий блюститель их делового расписания и потому совершенно безжалостный даже к дружеским просьбам таких, как я, празднующихся, в этот раз прямо-таки зазывал меня в давно знакомый кабинет:

- Зайдите к Александру Никитичу, зайдите, пока он свободен!

Александру Никитовичу слегка за сорок, но вот уже добрый десяток лет по должности был замом главного инженера по производству, а по призванию - самым надежным, почти бессменным смотрителем «часового механизма», если представить комбинат как большие часы, бессменным ещё и в том смысле, что на заводе торчал с самого раннего утра до поздней ночи, а то, бывало, и остаток суток прихватывал: не было работяги надежней его и самоотверженней, не было лучшей подпорки для всех, которые сменились за это время, «генералов».

И вот он сам – «генерал». Или не рад?

Какое-то смущение появилось в острых чертах лица, голова ушла в плечи, длинные руки перебирают скрепки на столе и будто подрагивают.

- Ты бы написал о нем, - сказал мне Рафик Айзатулов, Рафик Сабирович, предыдущий генеральный, после тяжелого инсульта сидевший теперь в маленьком кабинетике неподалеку по коридору: консультантом. – Командовать не привык, ему тяжело сейчас, Сашке, – поддержи.

- Попробую, - пообещал я.

- Запиши себе, запиши! – настойчиво сказал Рафик.

- Что записать-то?

- Ну, чтобы не забыл мою просьбу.

Я удивился:

- Да ты что, Раф?

- Извини! – сказал, как будто что вспомнив. – Это я теперь все записываю – стал забывать...

Эх ты!.. Старый мой сердечный дружок... Консультант теперь, «консультант-инсультант».

Давно ли сидели с ним рядом в концертном зале «Россия» в Москве, и торжественный, одетый с иголки, с бабочкою под кадыком – человек года! – Рафик не выпускал из рук только что полученную статуэтку – знак премии «Русский национальный Олимп», а я потихоньку клянчил:

- Дай человеку поддержать!.. Отдам - сука буду!

Но даже это не могло сейчас лишить старого моего друга ощущения значительности происходящего: п р о и с х о д и л о - то не с ним – со всем комбинатом!

Когда-то я придумал ему отчество, подхваченное потом общими дружками-пересмешниками: Рафик З а п а д н о – Сабинович. В честь нашего Запсиба, для которого он столько сделал.

И вот оно: это Запсиб сбил его с ног, Стального Рафа, которому, казалось, не будет сносу, знаменитого на всю Россию сталеплавильщика...

В кабинет к новому Генеральному лисьим шагом вошла пресс-секретарь, очаровашка средних лет в «боевой раскраске» - слоем мази на лице чуть выше среднего. На комбинате её недолюбливали: может быть, за то, что об окончании красноярского института культуры говорит с излишним апломбом?

- У губернатора на днях день рождения, - напомнила новому генеральному. – Вам придется ехать: речь я готовлю...

- Речь? – простодушно пугается Александр Никитович.

- А как же! – тоном наставницы объясняет пресс-секретарь. – Все будут говорить. Но нужен подарок: по-моему, я присмотрела. Бронзовый Дон-Кихот... наш Аман Гумирович и впрямь настоящий Дон-Кихот, это все знают. Подпишите здесь...

- Тысяча долларов? – снова пугается Александр Никитович.

- За Дон-Кихота?!- взлетают бровки.

- Д л я! – поправляю я. – Д л я Дон-Кихота...

Неискушенный в двусмысленностях генеральный, не дипломат, что поделаешь, - чистый технарь, переспрашивает:

- Для?

- М-можно и так сказать, - стреляет в меня глазками пресс-секретарь: в гостиничном номере я потом долго буду доставать из-под рубахи на груди стрелы, совсем непохожие на те, которыми пользуется баловник Амур, всеобщий любимец.

В дороге мне не очень работается – когда ещё смогу написать о генеральном? Для начала взялся подбадривать его устно, всё больше дружеским тоном, интонацией, которая часто важнее слов: что это ты, мол, Саня?.. Ты же сюда не рвался? Все знают: нет. Ну, а коли занесло, куда деваться-то? Соответствуй!

Он подошел к шкафу с книгами да альбомами, отодвинул стекло, из рядка одинаковых книг вытащил одну:

- Посмотрите в гостинице, может быть, пригодится. Это наш новый шеф...

- Хозяин? – уточнил я.

- Хозяин, да. С ним я знаком не очень близко, а вот приедет на днях его пресс-служба, я вас познакомлю. Глава её ваш земляк с Северного Кавказа, абхазец Отари...

- Если абхаз – это не земляк! - перебил я значительно. – Это брат. Я ведь приписной черкес, они меня давно: Гарун, Гирей... Два романа все-таки перевел, да какие, какие! А они ведь народы-братья: адыги и абхазцы. Во время конфликта с Грузией адыги им крепко помогли. Первый роман как раз об этом, он и называется – «Сказание о Железном Волке». Который разрушает Кавказ...

- Значит, вы и там - о железе?

- А как без него? Есть достаточно много статей, где говорится о кавказском влиянии на мое творчество, но кто б написал, что «Железный Волк» сработан на нашем комбинате... Запсиб – это на всю жизнь!

Все шутим! – размышлял я потом в гостинице, отрываясь от книжки, которую дал новый генеральный. «Корпорация без секретов», так она называлась. О «Евразхолдинге».

Ожидал, грешным делом, что автор начнет с того, как первый рубль заработал: ну, интересно же! Поделись, брат, опытом, поделись. Мнe-то, предположим, он уже не поможет, закопался в свои рукописи, как хомяк в землю, столько понаделал ходов, что обратно из этого лабиринта – уже никуда, все. Но ребятам помоложе, глядишь, да и пригодится. Разве это не важно – научить их делу. Вон как черкесы: в черных руках всегда – белая копеечка. А мы-то, выходит, проспали свой комбинат. Прозевали. Профукали. Прокакали. Почему?

Когда все это началось, Рафа подначивал: видишь, мол, карты ложатся как? Сперва ты у нас – Рафик Западно-Сабинович. А теперь оно так может обернуться, что комбинат станет Западно- С а б и р с к

и м. А?!.. Поднатужься! Разве татарва твоя, которую ты на теплые места попристроил, в обоих конверторных цехах жарится, не скинет тебе свои акции? Или русаки не отдадут? Ты ж у нас народный любимец, Раф, - поднапрягись!

Напрягался он всегда, в эту пору, когда надо было спасти комбинат – особенно, да вот чем дело-то кончилось...

А как же этим московским ребятам-то удалось такой гигант прикарманить – это ведь уметь надо!

Ну, и коли корпорация, видишь ли, без секретов, сейчас мы всю правду-матку и узнаем, сейчас... нет-ка!

Главное, что вынес из этой книжки, - всем на комбинате придется адаптироваться к новым условиям хозяйствования... странное дело вообще-то, странное! У младшего моего друга Олега Харламова, у старшего горнового, за последние несколько лет было четырнадцать переломов костей: так высох у своей печки, что помогал своей Любаше на стол собрать, двумя пятернями нес тарелку горячего супа и мизинец на миг отставил, дверь попридержать, а мизинец – хрясь, и сломался. Это у настоящего-то, который только спит без пики да без лопаты доменного «медведя»!

К чему ему ещё «адаптироваться» - уже ко всему привык!

А если сам ты мог ещё недавно с церковной крысой поспорить, кто бедней, а нынче у тебя – десяток миллиардов, вот тут-то, братец, не только об адаптации – о реабилитации психологической не мешает подумать: чтобы нервишки не подвели, крыша бы не поехала...

Разве нет?

Закрыв книгу, стал вглядываться в цветной портрет на обложке: пухленький господинчик в очках держит перед собой сомкнутые пятерни, и над сплетенными сверху указательными торчит приподнятый кончик большого пальца: ну, кукиш и кукиш!

Или та самая магическая «мудра», тайный знак, предназначенный только для посвященных?

Через день-два в кабинете у генерального взял с полки экземпляр «Корпорации без секретов», показал на портрет с кукишем: это куда же, говорю, любопытно, смотрели его наверняка высокооплачиваемые пиарщики, когда всем нам эту хозяйскую дулю показывали?! Такой, говорю, п и а р д ё ж, нам не нужен!

Александр Никитович, не бледневший от сообщений, что прорвало центральный водовод или что горячий металл полцефа залил, тут еле слышно прошептал:

- Давайте никому не будем рассказывать...

- Ну, так и мне ведь никто не говорил! – пришлось проворчать.

Ну, словно по заранее кем-то написанному и Вышними инстанциями утвержденному сценарию снова вошла наша красноярская очаровашка:

- Как там губернатору наш подарок, Александр Никитович? – победно спросила у генерального.

- Было человек триста, но он оказался чуть не самым скромным из всех! – живо откликнулся Александр Никитович.

И она прямо-таки выкрикнула:

- А я вам что говорила?

Наш сухарь-производственник, знавший на комбинате в лицо каждый винтик, осторожно спросил:

- Что – Дон-Кихот?

Руки у него, опять со скрепкой, и в самом деле, слегка подрагивали...

А нет ли в том и нашей вины?

Что некогда бескомпромиссного и бесстрашного Амана разоружили всем миром.

И кто из нас нынче так или иначе не развращен? Мне ли, столько доброго о Тулееве перед тем написавшему, бросать теперь в него камни?.. Или это разные вещи? Бросить камень – одно, а правду сказать – другое?

Вон как он недавно обо мне при всём народе: «золотых перьев», мол, в России достаточно, но с т а л ь н о е п е р о – одно... как знать!

Может, оно-то как раз, общее наше, без ржавчинки тогда, «западно-сибирское» прошлое, и заставляет ещё и нынче, хоть рвётся душа на части, с о о т в е т с т в о в а т ь... разве, несмотря на тюркское имя-отчество – ты не такой же Русский Мальчик?

Оставайся им, Аман.

Оставайся!

В машине Высшей школы милиции, в белой «волжанке», меня «вернули, откуда взяли» - подвезли до заводууправления, где мы должны были встретиться с Александром Никитовичем, чтобы вместе ехать потом на встречу со «старичками», с ветеранами стройки и комбината: надо мне выполнять просьбу старого друга Рафика, надо!

На месте не было не только генерального, уже не застал и его помощника, и, что-то новенькое, кого-либо из девчат-секретарш... Пожимая плечами пошел по коридору, ткнул к новоиспеченному консультанту.

- Что, Раф, «все ушли на фронт», один ты у нас дезертир? – спросил, присаживаясь напротив.

Он опустил трубку и сложил руки на столе. Слегка наклонился и долго вглядывался в меня: будто хотел сообщить что-то важное, и решал теперь – стоит ли?

Удивительное дело: голубоглазый красавец в молодости – тот самый «голубоглазый блондин» - почти таким же он остался и в свои шестьдесят пять: черты лица стали и благородней, и значительней... Татарский Мальчик?

Или все, все мы – Русские Мальчики, как было в войну, которую выиграла наша отцы? Как раз потому и выиграла, что тогда были вместе.

Раф, Раф! Старый дружище...

Ещё недавно один из «старичков», только что выдавший нас вместе, сказал о нем: мол, наш Сабирович вошел в настоящий мужской возраст – «серебро в голове, золото в кармане и сталь в штанах.»

Но зачем оно теперь ему, все это?

Он горько улыбнулся: будто подслушал, о чем я подумал.

Но твердо сказал вдруг совершенно иное:

- Если бы «все ушли на фронт», этого бардака у нас давно бы не было!

Положил ладонь ему на руки:

- Это, пожалуй, я запишу себе, Раф!

- Запиши, - посоветовал он. – Запиши...знаешь, что никого из руководства комбината не будет на вашем «старческом» вечере?... Только что прилетел новый хозяин выкуп подписывать...

- Выкуп?

- Темнота, чему вас учили... Основной пакет выкупает. Привез нового генерального. С Урала. Губернатор должен вот-вот подъехать: скрепить высокой печатью. Наши все уже там.

- А ты... - начал было я.

- Хрена ли мне там! - сказал он горько. – Что они – о качестве стали?.. «Раф сделал свое дело...»

Ну, так это он горько сказал!

Опять я бросил ладонь ему на руки и даже голову наклонил...

- Ладно! – сказал он, помолчав. – Дать тебе машину, а то опоздаешь.

- Ты не поедешь?

- Вернется за мной – по междугородке жду звонка. Подъеду чуть позже, - и в глазах у него тоже появился предательский блеск. – Если не забуду.

Новенькое? О «настоящем» мужском-то возрасте?

«Серебро в голове, золото в кармане, сталь в штанах и слеза в глазу», да...

- Запиши себе! – сказал я уже с порога.- Вечер ветеранов.

И он покорно, как с предписанием врача, согласился:

- Сейчас запишу.

Не записал-таки?

Или записал да забыл потом глянуть в бумажку? Консультант-инсультант нынче, эх!

Почему-то мне казалось это важным: чтобы непременно был Рафик.

Место в зале мне заняла Маша Поздеева, вдова когда-то самого задушевного друга... Славка-Славка!

Неужели, прежде чем со всеми нами это проделать, они с тебя начали: совсем иным тогда способом...

Уроженец Севера, из-под Архангельска, отслуживший в Германии танкист, «отличник» всех, какие только были тогда, «подготовок», он и тут, на голом, считай, месте, стал обживаться основательно и надолго, к этому же приучал всех вокруг еще в управлении механизации, где начал бульдозеристом, и везде потом, где бы ни был, и – всегда...

После того как закончил техникум, как слесарил, довольно скоро выбился в начальники цеха водоснабжения: вроде бы не громкого, но

одного из самых важных на металлургических комбинате, самого, пожалуй, тяжелого...

Но кроме питьевой, кроме технической, они там скоро стали заниматься ещё двумя видами воды: живою и мертвой. Ведь сказкой это считают лишь те, кто давно оторвался от корней, а то и вовсе их не имел: Славка был – человек-корень.

И дома у его слесарей выростали лимоны необыкновенного размера и веса, - перед общим чаепитием в цехе их потом взвешивали и отмечали на табличке с фамилиями на стене – и среди зимы зрели помидоры с кулак, а картошку «профессорскую», за которой он сам ездил в Академгородок, они стали сажать потом с осени – на буграх, с южной стороны: только шесть-восемь выращенных по «профессорской» системе картох входили в ведро – урожай собирали сразу в мешки...опять Русский Мальчик?

Проживший за пятьдесят с небольшим...

Он был блестящий изобретатель, и довели его, дотоптали, доели обвинительными речами на собраниях, заседаниях, активах, где только нет, - о частнособственнических, видите ли, инстинктах. Еще бы: чуть ли не первый из комбинатских на премии от «рацух» - рационализаторских, значит, предложений – купил «ниву», первый взялся своими руками строить дачу, первый...

Я тогда валял дурочку в Москве, атаманил в Московском казачьем землячестве - слава Богу, что Борис Кустов, бывший в ту пору генеральным, через своих передал: что, мол, он забыл, что настоящие-то атаманы – в Сибири? Тут что ни бригадир, что ни «бугор», то – атаман, а что говорить о начальниках цехов или о прорабах – не московских, не липовых «перестроечных», а по-прежнему, как были, - железных?

Приехал и отработал на Запсибе пять лет, в самую трудную свою, спасибо вам, братцы, пору! Но начал с того, что первым делом постарался Кустову доказать: что тут у нас натворили со Славой Поздеевым, который один, выходит, шел той дорожкой, на которую ринулись теперь все?..

И Кустов приобрел для Поздеева американский прибор, определять в крови сахар, передал для него кучу лекарств, а гроб нести приехали потом два его первых заместителя... как поздно, ребята, ну – как поздно!..

... и вот они теперь там сидели, и новый хозяин наставлял их, как жить, и губернатор, наш Дон-Кихот, любимец нищих старух с кэпээрэфовскими билетами, готовился благословить «выкуп»... или всё уже подписали?

Иногда, чтобы оглядеть громадный зал, я вставал и беззастенчиво вертел головой: что ж тут такого – все свои. Кто-то вдруг вскидывал руку или начинал махать обеими, и я вытягивал ладонь, вижу, мол! Рукою указывал на выход и снова семафорил пятерней: мол, в перерыве увидимся...

- Павлик с тобой хочет, - сказала Маша и повела головой вглубь зала. – Машет тебе: отзовись!

Павлик Луценко, тот самый – «Пашка, моя милиция...»

Прилюдно арестовавший когда-то в поселке начальника стройки Нухмана, тоже легенду, за то, что на «ноябрьские» у всех на глазах, подвыпивший, вlepил в ухо вербованному: высокой справедливости ради в городе начальнику впаяли трое суток, больше нельзя было, стройка – ударная!

Вскинулся, нашел Павлика глазами, снова стал жестами – как говаривали на рапортах чуть не все наши отцы-строители с ударением на последнем слоге - н а п а л ь ц а х - стал объяснять, мол, увидимся, и он снисходительно покивал, руками развел и тоже приподнял пятерню: не беспокойся - куда ты от милиции?

- И Нухман здесь? – спросил у Марии.

- Абрам Михалыч? – уважительно переспросила. – Подходили с девочками с ним поздороваться... Сейчас покажу, где сидит...

Сама она из первых на стройке сибирячек, всем классом приехавших сюда из пригородной Байдаевки, разумеется – за романтикой, тогда за нею приезжали многие: к сосланному сюда за непокорство и своеволие Нухману.

- Как он?

- Ты знаешь, как огурчик! – сказала с радостным удивлением, но как бы и с застарелой болью: Слава, Станислав Андреевич её, спиртного на дух не переносил, ни с кем не выпивал, и это тоже было негласной его виной. Сколько пришлось ей пережить, когда он, с неумемным его характером, ослеп, когда с трудом передвигался по комнатам.

А Нухман в свои девяносто без рюмки не садится за стол!

Когда получил свой трехдневный «срок» и под присмотром уже городской милиции на трамвайных путях лед окалывал, новостроечные наши, поселковые ухари ездили туда его подзуживать: мол, получается у тебя, начальник, - умеешь!

- В том-то и дело, что я и этому давно научился! – проговорил он, не отрываясь от лома. – А вас-то и сюда поставить нельзя: не будет толку!

Великие люди были, эти настоящие-то наши прорабы!

А, может, потому-то и не дали снять тогда двухсерийный фильм по «Пашке, моей милиции», что другие прорабы, из разрушителей-передельщиков, были уже на подходе?

Пять лет назад, на празднике сорокалетия «первого колышка», попросил его: внесите, мол, Абрам Михайлович, ясность. Какой из братьев Юдиных вбил его, в конце-то концов, - Виктор или Иван?

- Если честно, не помню, - признался он простодушно. – Наверно, выпивши был...

Завязанный-перезавязанный всеми, какие только могут быть у нашего брата, у пьющего писателя, узлами, нарочно виновато сказал ему:

- Давайте хоть чокнемся!

Палец, когда стал ему наливать, к бутылке он приложил не под горлышком, а, старая школа, сверху.

- Ну, хватит, - удовлетворенно сказал потом. – А то я сегодня тут – чуть уже не со всеми... помнят меня, ты знаешь!

- Девчата передали ему, обернулся, - проговорила Маша. – Поздоровайся!

И солнышком блеснула в передних рядах облетевшая, как одуванчик, головка нашего первого начальника: обернулся, взгляделся, улыбнулся. И покачал ладонью как из правительственной машины значительно: морозоустойчивый наш бесценный реликт.

Сколько бы им всем, сидящим в зале, нынче сказал, но по молчаливому уговору с главой нашего района, опытным царедворцем, слова мне не дадут: могу нарушить торжество неожиданной речью или еще какой-нибудь своевольной выходкой невольной, как нарушал, бывало, в то время, когда он был секретарем парткома на стройке...

Одни и те же герои?

Из них, из них-то.

Да нет, вот они и нам воздают должное... Двое молоденьких ведущих, он и она, перехватывают речь друг дружки: пришли на пустырь... своими горячими сердцами отогревали мерзлую сибирскую землю... не бросали в беде... подставляли плечо уставшим... задымили трубы, выросли заводские корпуса... стали настоящими мастерами... эстафету трудовой славы сегодня подхватили молодые... спасибо за ваш труд, за ваши щедрые сердца... все отдали...

... этому господинчику в очках и с кукишем?.. Который теперь призывает всех адаптироваться. Он – сидящих в этом зале и всех, кто в Кузне живет... Кто-то другой из них - в Норильске... в Ижевске... в Череповце... в Старом Осколе... в Москве и в Питере будем адаптироваться. Сокращаться и упрощаться, а что? Уж как-то да ко всему приспособимся: да здравствует наш адаптированный народ! Да здравствует единая адаптированная Россия... или уже – можно и с маленькой буквы? Россию-то. Адаптированную?

Ну, как это свое смятение объяснить?..

Закричать?

Ведь крикнул же, когда среди первых добровольцев-москвичей назвали несуществовавшего никогда Ветчинова, ведь крикнул же:

- Серёжа В е ч т о м о в!

Его здесь нет, вообще неизвестно никому, где он, бетонщик, мечтавший стать дипломатом, - стал? Где работает? Где живет? Жив ли?

Но давайте назовем его своим именем.

Выходит, если дело касается всего-то одного человека, и то душа хочет правды, а если касается - нас всех?!

Народа нашего.

Закричать?

- Ну, сколько можно лапшу нам на уши вешать, тем более тут, - душа не принимает больше вашей брехни, ну, - хватит!

Рубаху на груди расстегнул, повел туда-сюда головой, полуобернулся на пригорюнившийся зал, и увидал вдруг Саушкина... что он-то тут делает? И кто это рядом с ним – седой человек с крупными чертами лица и молодыми глазами?

И тут меня вдруг достало: что я им там наговорил!

И ребятам из Высшей школы, и этим-то: «лесным братьям»...

Давал урок искренности, открытости, звал к справедливости и к добру... какая справедливость? Какое добро?

Как они станут и то и другое защищать? Кто им даст это сделать?

Обречены на вечный душевный разлад, и это я их неразумными, несдержанными речами к нему подталкивал!

... На сцене одетые «под первопроходцев» девчата и парни запели под гитару знакомое: «Нас с тобой засыпали снега, продувала жестокая вьюга. Здесь мы поняли, как дорога помощь друга, хорошего друга. Было первым из нас нелегко. Мы к палаткам привыкли нескоро. Но теперь мы ушли далеко: за плечами оставили город. Говорят, что нам не повезло, что живем далеко мы от дома, только знаем: метелям назло загудит наша первая домна. Мы подругам в суровые дни согревали дыханием руки, чтобы к звездам ушли корабли, чтоб вели их упрямые внуки. Чтобы там, завершив перелет, на планетах чужих рассказали, что они привели звездолет из горячей запсибовской стали!»

Неужели, и правда, это я сочинил слова?

В шестидесятом стихов уже не писал, один за другим печатались очерки, пошли первые рассказы в Москве, но я решил тряхнуть стариной, стих составил и подписал под ним ещё и фамилию дружка, ростовчанина Роберта Кесслера, Роба, он всех нас забавлял заумным верлибром, вслед за Валюшей своей подался потом в биологи, тоже доктор, писать не бросил, но «выдурился», как бы сказали в моей станице - какой великолепный стал теперь поэт, мастер классического стиха, но кому она теперь – классика? А я тогда, как старший, хоть всего-то на пару лет, очень хотел, чтобы и ему, бродяге беспризорному, казаку по матери, немцу по отцу, остался на память этот наш новостроечный стих, искренний по тем временам... или она ещё тогда началась, государственная фальшь, а теперь достигла своего пика, мы за все только начинаем расплачиваться, а за душой, кроме нищих внуков, и в самом деле, упрямых – ничего! Но то ли ещё будет?!

- Господа ветераны! – раздавался со сцены звонкий голос. – Дорогие наши первостроители!.. Официальная часть нашей программы окончена. Желаящие могут перейти через дорогу, в ресторан «Сибирь», где вас обслужат вне очереди...

- Вне очереди? – нервно выкрикнули из зала. – Или?.. Или?!

- Вы правильно поняли, господа: только – вне очереди...

Возникла скромная тишина, и посреди неё громко разнеслось насмешливое:

- А ты, земля, уже и губы раскатал? Готовь ваучеры!

Кто-то взял меня за локоть, потянул от Маши в сторонку:

- Приказано сопровождать...

Маша сказала понимающе:

- Ну, увидимся!..

Я попробовал сопротивляться:

- Куда это?

- К своим, к своим...

- А кто там?

- Наши все... машина тут за углом...

В уютном, сверкавшем чистотой банкетном зале буквой «П» стояли щедро сервированные столы, за ними рассаживались вроде бы давно знакомые люди...

С одним, с другим поздоровался, о чем-то переспросил, тут же понял: организовали те из наших «старичков», у кого теперь свое производство, кто в люди выбился... ну, средний класс, да.

А кинули, выходит, всех тех, кто остался «за чертой бедности»...

Предатель! – говорил я себе. – Какая же ты мелкая подлюка!.. Ребята будут искать тебя в «Сибири», станут друг друга переспрашивать: мол где Старик?.. Или многие оскорбятся и туда не пойдут?.. Другие – и в самом деле, не смогут по бедности. Растекутся на группки, побазарят, окончательно скучкуются, скинутся, пойдут сперва в магазин, отправятся потом пить по квартирам... с кем-нибудь из них и пошел бы, тем более, что там, и правда, осталось столько своих, с кем не только поговорить – не успел поздороваться...

Тут, что ли, заорать?

Нарушить добропорядочные речи...

Народный заступник... эх, ты! А ещё – что-то о губернаторе...

Такая смута была на душе.

Пить я и тут не стал, как не пил за чистосердечным, за полным полузабытого офицерского благородства столом в Высшей школе – уже после встречи с «лесными братьями»...

Но, может быть, помаленьку стоило?

Чтобы спустить на тормозах этот захвативший душу раздрай и хоть слегка уменьшить чувство личной вины за всё, за всё, за всё, что со всеми нами случилось...

9.

Раненько утром со старым товарищем, фотокорреспондентом Толей Кузьяриным, выскочили, как договаривались, в Кемерово, где нас ждала другая машина: ехать в Мартайгу. В Мариинскую тайгу. В знаменитую Чебулу.

Ночью пронесся ураган, наша «волга» мчалась то сквозь обрывки дождя, то сквозь ярое солнце, и сердце у меня стучало под горлом: предатель!.. Предатель!

Провожать нас до Кемерово поехал сын старых друзей Засухиных, почти родственник Алешка, добрая душа, не так давно отошедший от автомобильной аварии бывший сталевар, которого я так и не смог устроить на комбинат и только теперь понял, почему... Слово Александра Никитича, временного генерального, уже ничего не стоило – один я этого не знал, все ждали нового хозяина и новых решений... Ждали очередных перемен.

Но главные перемены со всеми нами уже произошли: чуть ли не в каждом.

Или уже – во всех?

По принятой в Кузбассе - а, может, по всей Сибири – традиции белая «волга» директора Чебулинского лесхоза Дерябина стояла на придорожной полянке, а сам он ждал на обочине шоссе, по обеим сторонам которого вздымалась черная, ели да пихты, глухая тайга...

- Скажи, Александрович! – начал я растроганно, когда обнялись. – Дорастут ли кедёрки, которые ты мне дал, до этих великанов?.. Который уже год сидят под Москвой – ну, хоть бы до пояса вытянулись, ну, - как застряли!

- А так – веселые, крепкие, не желтеют? – спросил он с интонацией доктора.

- Да тугие, зеленые, - вроде бы все в порядке, а вот...

- Тоскуют по родине! – сказал Толя, который уже ходил со своим «кодаком» вокруг, выискивал «точку» для съемки. – Ты оглянись, оглянись-ка – посмотри: какая она у них – родина!

День был тихий и солнечный, небо высокое и голубое, с белыми барашками облаков, которые будто нарочно отступили к горизонту, чтобы подчеркнуть ширь полого уходящей вниз яркозеленой поймы с проблесками петлявшей между плоскими сопками еле видной от нас реки.

Промытый весенними дождями Кузбасс всегда хорош в эту пору, когда неистребимый дух разогретой земли, с прущими из неё дикими травами, даже в городах на короткое время забивает неживую вонцу металлургии, химии, угольной пыли. Здесь же, на вольной волюшке, дух этот как будто справлял свое торжество... Потягивало мокрой прелью, подсыхавшим прошлогодним листом, разогретой к полудню хвоей, но все это было лишь необходимой приправой к тугому и теплому запаху дикого чеснока, черемши: Владимир Александрович, не раз отправлявший её для меня в Москву, специально небось выбрал местечко неподалеку от к о л б и щ а.

И тут раздался виноватый и томный кукушечий стон, глухо сливавший воедино слабую надежду и безысходную тоску... неременный - как цыганская скрипка в уютном, под старину, ресторанчике – аккомпанемент таких вот таежных встреч: на покрывающей багажник «волги» чистой тряпице, как на скатерти-самобранке, чего только нет, и вяленый лещ, и соленые помидорчики, и грибочки, хотя в такой обстановке хватило бы и одного неизменного всюду «тройственного союза» - буханки хлеба, куса сала и пучка черемши...

На правах хозяина Владимир Александрович разлил по тонким стаканам «на два пальца»:

- Со встречей?

- Пока не забыл, Александрович! – остановил я. – Ещё прошлый раз хотел расспросить. Почему это место – Ч е б у л а?

- А-а, - протянул он.- Сейчас... вообще-то не Че-була. Раньше она была – «Чи». Рассказывают, когда казаки-первопроходцы вышли к речке, - и повел к пойме рукой. – Вон поблескивает водичка!.. Вышли, и она им так понравилась, что загуляли с устатку, да так загуляли, что утром проснулись: нету речки! Ну, нету - как не было. Один другому и говорит: дак, а ч и б у л а она? Ч и не б у л о?..

- К своим попал! – сказал я невесело, но как бы с былою лихостью.

- В каком, Леонтьевич, смысле?

- Давай-ка сперва, Александрович, - за встречу!

Солнце пекло, надрывалась кукушка, дух черемши уже был сильно разбавлен ею, проклятой, а я в который раз принимался объяснять, почему я к своим попал: в прошлое.

Ну, как же, как же - только туда нам теперь и можно уйти, только это и наше, все остальное отняли да под какие опять слова!

А тут все верно: Кузбасс на казачьих косточках стоит.

Раскулаченные да расказаченные терские, донские, кубанские за колючкой да вне её в двадцатые да тридцатые годы били шахты, поднимали металлургию, которая раздолбала потом знаменитый немецкий Рур... А сразу после войны сюда-то как раз – «на смену павшим, в борьбе уставшим» - и привезли выданных англичанами Сталину в австрийском Лиенце тридцать тысяч казачков, воевавших на стороне немца: в юргинских лагерях помирали, в кемеровских, беловских, киселевских, прокопьевских, кузнецких...

А на смену лагерям пришли ударные стройки с казачьей вольницей: бывало, идешь по поселку, и чуть не из каждого окна - тут хлопцы коней, слышать, распрягают, здесь доверчивую черноокую Галю «забрали с собой», а там, слышишь, с нашим атаманом не приходится тужить... где они, где нынешние наши атаманы, с которым народ, и правда, не тужил бы? Сколько ж ему, бедному, тужить-то можно, ну – сколько?!

Эх, как знали первопроходцы, что для своих стараются, богатые и красивые для жизни места выбирали, да только была она, жизнь, было всё это, и действительно, или не было этого ничего?..

Да и вообще: что было-то, Александрович, на самом деле? Что было-то?

Или ничего и не было, так...

«Була» ли, плесни-ка ещё, Александрович, моя ударная стройка, наша стройка, было ли наше крепкое товарищество, наше братство, наши надежды и наша вера, - не та, знаешь, официальная, которая первая потом нас и сдала... А вот эта: от первопроходцев, которые когда-то тут загуляли, от казачьих косточек на Тыргане да в Сибирге и косточек от сибирских дивизий под Москвой, мой семилетний мальчик, наш Митя на Востряковском, так вышло, кладбище похоронен рядом с братскими могилами, кто в московских госпиталях умер от ран... сколько лет они ещё помирали! Может, Александрович, до сих пор помираем?

Все?

Только не хотим себе в это признаваться.

А остаются лишь мародеры, Александрович, их время пришло, остальным надо а д а п т и р о в а т ь с я – хочешь, Александрович адаптироваться?..

Даже вот кедёрки твои не хотят под Москвой у меня адаптироваться, под Звенигородом, ну, не хотят, и все, но нам-то с тобой, умные люди настоятельно советуют: придется!.. Или все же не станем?!

Давай вот тут прямо и решим, чтобы казаки эти слышали... н а д н а м и. Та-ам, наверху. Которые первые в этих краях... в Кузбассе нашем, а, может, первые в России задумались: что было, а чего нет.

Главный, скажу тебе, Александрович, нынче вопрос!

10.

Потом я стыдился, переживал, как мальчишка, мучался и винился, что загулял тогда: старый дурак!

Но этот сибирский, родом из Чебулы, вопрос, так и саднит в душе, так и держится непрестанно в сознании: что было, а чего как бы вовсе и не было? В нашей жизни. В истории нашей.

Поди теперь разберись!

Два десятка лет назад, когда мы часто общались, я получил письмо от питерского литературоведа, доктора философии Юрия Андреевича Андреева, от Юры - тогда ещё начинающего, а нынче одного из самых знаменитых, не из шарлатанов, целителей, может, встречали хотя бы его «Трех китов здоровья»?

«Помни всегда, - писал Юра, - что на наше с тобой (вставшее сразу после войны) поколение легла п р о в и д е н ц и а л ь н а я з а д а ч а.

Ибо те, кто шли перед нами, при всех своих достоинствах, были либо ударены культом, либо развращены номенклатурными благами. Те, кто идут за нами, увы, в значительной степени растлены потребительством, 18-ью годами брежневской беспринципности.

За нами же – и высокая вера, и умение работать. Н а ш е п о к о л е н и е – с о л ь з е м л и. Не забывай никогда: ты – соль поколения.»

К письмам отношусь с непростительной беззаботностью, но это почему-то хранил и держал на виду. К нему теперь можно относиться по-разному, но разве Андреев не угадал, что мы, выражаясь хоккейным термином, «попали в коробочку». Да какую жесткую, какую безжалостную... милый Юра!

Ты, как философ и врач, наверняка размышлял и над последствиями травмы, и над возможностью выздоровления... Или это и - всё?

Мы тоже сделали свое дело. Тоже можем, как Раф, уходить.

Ну, не спеша... Чтобы не было давки на кладбищах.

Но мы пока живы!..

И что нам делать с нашей памятью, которая хранит и тягостное отступление Красной Армии, и молчаливо-горькую оккупацию, и радостное возвращение н а ш и х... Да что там! Ту самую, «окопную правду», до которой до сих пор так тяжело скребутся классики, мы слышали в очередях за хлебом, когда считались меж собой безногие да безрукие... Все тогда в них болело, каждая мелкая подробность значила многое, всякий день на передовой имел свой тяжкий, почти неподъемный вес... А как мы ждали почтальона, как наши матери пытались последним его угостить, будто это зависело от него: послать на смерть? Не послать?.. Как страшно кричали у ворот получившие извещение женщины, и потихоньку им начинали подскуливать наши сверстники и подвывать голодные псы, не только жившие тогда на самообеспечении – нет-нет, да приносившие домой перехваченный на кухне у немцев кусок – для нас, для детишек.

А как мы тогда играли в войну?

Это для наших внуков игра потом стала называться «войнушкой», но тогда!..

Когда однажды на стройке разговорились за чаркой, у кого какие остались после немцев трофеи, кто с чем потом ходил «на войну», Дима Синютин, ставший потом редактором нашей газетенки, долго и благодушно слушал наши рассказы, а после вздохнул:

- Гранаты... мины... порох из снарядов – всё это, мальчишки, не то! Мое село стоит рядом с Прохоровским полем, туда мы и ходили потом играть... А как? Подбитых танков полно, орудий недоломанных тоже. Двигаться не может, а башня вращается, и боезапас внутри будь здоров – убирать некому, все это стояло возле нас несколько лет... Поделится на «наших» и на «немцев», в машины заберемся и давай друг дружку – тот из пулемета бьет, а этот по нему из орудия лупит. Когда снаряд из танка в село залетит, старухи разгонять бегут. Матери наши - в поле...

Может, другие этого вовсе не ощущают, и только мое поколение, четыре года, в самом отзывчивом возрасте, жившее письмами с фронта, похоронками, слухами, рассказами вернувшихся с войны

раненых, разрывающими душу песнями слепых гармонистов со светившимися от голодухи насквозь мальчишками-поводырями, сводками Совинформбюро, которые не обходились без горьких комментариев, жестокими, сколько ребят подорвалось, играми - может быть, все это и сделало наше поколение наиболее восприимчивым к неправде, ко всякой, даже малой брехне: ну, хватит, хочется кричать, хватит – давно через край!..

Ну, где вы все были, когда в центре Москвы распродавали зарубежным туристам кровью добытые ордена наших отцов, когда те десятками скупали серые солдатские ушанки со звездочкой и генеральские папахи из каракуля... да и только ли, только ли это?

После сибирской стройки, где прошло больше десятка лет, после Кубани, на которую вернулись из-за детей, мы перебрались – из-за них же, в Москву, и в мае, в день Победы я непременно ходил к большому театру, где собирались бывшие фронтовики, ездил к Парку культуры либо потом – на Востряковское кладбище.

Возвращался однажды в полупустом троллейбусе из центра и на Новослободской, возле метро, в салон взобрался на костылях одноногий инвалид с орденами на пиджаке... Троллейбус дернулся, я вскочил поддержать вошедшего и помочь ему сесть.

- Не надо! – сказал он с неожиданной болью, продолжая стоять на задней площадке. – Вообще вы за нами – меньше... Герои полегли первыми! Теперь их не осталось, героев...

Он был почти ровесник, но я сказал ему искренно:

- Спасибо, отец! За правду.

Это всегда жило во мне, несмотря ни на что: настоящие герои давно погибли.

Но разве за этим не следует совершенно закономерное: **з а ч т о?**
Считалось, «за Родину, за Сталина».

После взялись поговаривать: мол, «за Родину **з а с т а в и л и.**»

Но Родина в неприкосновенности оставалась и здесь.

Так за неё, хочется спросить, - чтобы жила, богатела, расцветала и разноплеменные, сообща защитившие дети её, были счастливы?..

Или – за вымученную государственную ласку по большим праздникам, для тех, кто остался жив: чтобы хоть слегка прикрыть очевидный для всех национальный позор?

В Касабланке у Миши появился русский сменщик, зиму он прожил в заваленном снегами дачном поселке под «высоковольткой» возле нашего Кобякова, и однажды ранней весной сказал мне:

- Внимательно следи за березой. Как только лист станет с копеечную монетку, у нас с тобой будет дело.

- Что-то новенькое, - ответил. – На веники режу всегда после Троицы...

- Голодной куме – блины на уме... или как там? – переспросил он с мягкой своей улыбкой.

- Кто про что, а вшивый – про баню! – взял я на себя «прямой текст».

- Да нет же, - разулыбался он. – Баня ни при чем. Тут, знаешь, в чем дело?.. Гуси всегда прилетают из теплых стран в эту пору, когда березовый лист только-только начнет распускаться... говорю, с копеечную монетку...

- Гуси-то причем?

- Русский Мальчик, где бы ни был, появится их встречать...

- На севере?

- Зачем – на севере? Дома!

- Прямо домой к нему прилетят?

- Те, что у него живут – прямо домой...

- Да как, ты объясни, дикие гуси могут жить дома? Осенью улетают, а зимой возвращаются?.. Так, что ли?

- Представь себе!

- Вот это уже «двадцать два», - сказал я ему. – Как в картах. Как в «очко» - перебор!

- Так, а что мы вообще-то знаем о гусях? Что «Рим спасли» - это и всё?

- Не надо! – сказал я твердо. – Тут как раз кое-что... Не говорил тебе, что как-то ранней весной ездил под Нижний Новгород гусиные бои смотреть? Там есть такой городишко – Павлово.

- Говорил, - согласился Миша. – Он там несколько раз был.

- Кто? – удивился я.

- Русский Мальчик! Про Павлово он и говорил.

- Миша! – тоном пришлось его упрекнуть. – Я-то – о себе!

- Выходит, и ты там был?

- Ну, конечно! Ездил туда со старыми гусятниками...

- Тут недалеко от Подольска живет один фермер... то ли Золотников, то ли...

- Золотухин! – поправил я.

- Вот с ним он и ездил...

- Да ты что?!

- И правда что, мир тесен! – рассмеялся Миша. - Выходит, могли ехать в одной машине...

- В тот раз – нет. Когда я с ним ездил. У Золотухина «газель». В кабине трое. С нами был молодой гусятник из Курска, приехал со своими птицами с вечера. Вместе ночевали у Золотухина, чтобы утречком в дорогу – пораньше...

И так мне живо все это представилось!

И ярко пылавшая русская печь с полукруглым челом на первом этаже рубленного золотухинского дома – чело такое широкое, что подбрасывай метровые поленья, пожалуйста, а под высоким кирпичным сводом можно потом на корточках и веничком побаловаться - такой свод высокий... И долгое наше сиденье с вечера напротив озарявшей лица громадной печи, за просторным столом с толстой, из липы, столешницей, и удивительные рассказы хозяина о голубях и гусях, и раннее, с морозным туманцем и хрустким ледком, утро, когда выехали в Нижний...

- Что в кузове? – с нарочитой строгостью спросит потом молоденький лейтенант-гаишник, когда нас остановят уже под Владимиром.

И Золотухин охотно откликнется:

- Бойцовые гуси!

- Что-что?!

Все вылезем из кабины, высокий, жилистый Золотухин, закинет наверх брезент, и лейтенант сунется к большим, похожим на сундуки, плетеным из лозы корзинам, которыми доверху заставлен кузов «газели». Гуси в них переминались, потопывали, тихонько и мирно гукали, от них доносило слабым птичьим теплом.

- И что – будут драться? – недоверчиво спросил лейтенант.

- Ещё как будут! – пообещал Золотухин.

И молоденький «гаишник» совсем по-мальчишески вздохнул:

- Хэх ты, ну прямо, хоть бросай тут все и давай с вами: поглядеть!

- А за чем остановка? – невозмутимо поддержал Золотухин. – Я на твоём месте так бы и сделал!

Переночевали на окраине Нижнего у местных «гусятников», тоже встали чуть свет, а через два-три часа были в Павлово, в старинном городе мастеровых, который и сейчас славится перочинными ножиками всякого вида, хитрыми замками, голосистыми канарейками и удивительными лимонами, у которых тоже свой секрет: чтобы вырастить настоящий павловский лимон, надо знать «слово».

До недавнего времени тут были также петушинные бои, посмотреть на них, сделать ставки да попробовать выиграть сюда съезжалось якобы пол-России, но после нескольких крупных драк, восторженными зрителями в которых были уже петухи, бои запретили, зато гусиные остались – это дело благородное, чистое, безденежное... Потом, правда, знающие гусятники поговаривали, что и тут был играющий люд, как без него – ставили и местные, и приезжие, но все это шито-крыто, потихоньку, потому что за боями наблюдали дамы из отдела культуры, которые вдруг решили взять бои под своё крыло, – старых гусятников прямо-таки трясло при виде этих расфуфыренных дам - и единственный милиционер следил за птичьими схватками то с одного, то с другого места: потихоньку обходил сзади обширный круг, незаметно поглядывал...

Дерутся гусаки, но каждый привез со своим в корзинке кто двух а кто трех гусынь: чтоб было из-за кого биться и было кому дерущегося подбадривать... весна, что ты!

Солнышко греет уже во всю, как бы не растопило снежок на расчищенной, на вытоптанной обширной площадке на окраине города... Рядом с нею полно машин: и легковых, на которых приехали просто поглазеть на гусиный бой, и иномарок с одной корзинкой в просторном багажнике, и «газелей» да крытых грузовых с выставленными возле них на землю плетеными сундучками – откуда только, судя по номерам, люди не приехали. Есть даже заграничный номер – эх, из Минска... Но есть и несколько санных возков - из окрестных поселков на лошадаках приползли соседи-завистники, которые и Павлово-то называют не иначе, как «Падлово». Самые знающие, самые опасные конкуренты со злою до драки птицей: и хозяева, и будто бы даже гусаки тоже весь год живут одной мыслью – на боях «наказать падловцев».

Но ты сперва попробуй, попробуй!..

Вынимают из корзинок, бережно несут на руках и самих бойцов, и «группу поддержки». Гусаков опускают рядом друг с дружкой, и за

каждым на утоптаный, с черными пролысинами мерзлой земли, снег чуть поодаль ставят гусынь.

Если птица на боях не впервые, не только знатоку – и настоящему любителю чуть ли не все о ней известно: от каких родителей, какого нрава, когда и кого одолела, чего боится, а чего нет, и чего от неё можно ждать... Сами гусаки знают о себе меньше, до многих сразу, видать, и не доходит, почему здесь оказался, да не один, а с подружками, которые сперва деловито оглядываются, мирно погукивают, а потом начинают беспокоиться – бывает, раньше уверенного в себе, в самой поре, бойца...

Вспоминает ли гусак, что было в прошлый раз, просыпается ли в нем подпитанный весенним током крови, подогретый первым солнышком древний инстинкт, или вдруг не понравится, что противник, который ещё и не противник, а так, случайно оказавшийся рядом незнакомый самец, дернул вдруг шеей и опасно повел клювом – так или иначе, птицы начинают друг дружку пощипывать, грудью налетать, бить крыльями, но все это лишь зачин – сам поединок начнется, когда обе ухватят клювами, словно клещами, одна другую за крыло поближе к корпусу, свяжутся в единое целое и станут то медленно кружить, то взад-вперед подергиваться, бить противника одним крылом и снова потом с ним сплетаться, и так и пять, и десять минут, и полчаса, а мощные и равносильные птицы, бывает, и по часу, по два, по три – недаром же в этом болельщицком «всеобуче» то там, то здесь слышится один и тот же рассказ: мол, как раньше-то в России? В седую старину. Богатые владельцы настоящих бойцов их выпускали, а сами уходили в ближайший трактир, попивали там себе чаек и не только, разговоры о гусях разговаривали да заключали пари – большие дела решали, а потом либо половой, трактирный слуга, значит, специально ждавший на бою, прибежал, либо человек из собственной дворни: пора и вам быть, Иннокентий Силыч!.. Данила Самсоныч, н а ш взялся!

И хозяева чемпионов, не торопясь, промакивали салфетками усы, оглаживали бороды, медленно и важно выходили, значит, к ф и н а л у, поединка.

Где ты, старая эта Русь?..

Или даже птица стала теперь слабей, или после долгого перерыва еще не возродилось истинное мастерство старых гусятников, но схватки были, конечно же, куда покороче. Какой, случалось, напрочь

отказывался драться, как бы его не понуждал хозяин и сами гусыни, казалось, не подталкивали. И это не худший вариант, просто молодой, не натерпелся, у такого ещё все впереди, время пройдет – станет бросаться первым. А другого тут же снимали за запрещенный удар клювом в птичий затылок, и тогда слышались комментарии иного рода: это, мол, с ним уже не впервой, все, надо вечером к хозяину в гости идти – не миновать лапчатому кастрюли...

На все это можно глядеть часами, лишь бы вытерпел, потому что только у гуся ноги не зябнут, но ещё любопытней, чем за бойцами, следить за их хозяевами... особенный народ, конечно, - особенный! Кого здесь только нет: и вальяжный директор московского завода, к черному «джипу» которого то и дело спешат погреться приехавшие сюда на лошадаках гусятники, да ещё поглядеть, напитками с какими наклейками они там греются – видать даже издали; и группка фермеров из разных краев, которые так и льнут к высокому и жилистому Золотухину; и трое тихих нижегородских ученых-физиков, которые с заученным терпением ожидают исхода схватки, как результатов очередного опыта; и двое молодых офицеров в зимних лягушачьих ватниках и в утепленных сапогах, но уже в фуражках с высокими, как у диктаторов банановых республик, тульями – эти-то где умудряются гусей держать, если самим поди негде жить?

Но главные действующие лица – сами павловцы да их оппоненты, которые не совсем так их обзывают – иногда и на крике.

В старых козушках и подшитых валенках, в заплатанных телогрейках и сиротских треухах, кто кривенький, шея чуть не длинней плеча, а кто косенький, но столько азарта в лицах, столько то озабоченности, а то непреклонности, что можно подумать: после гусаков своих начнут биться сами – оттого-то и вид такой, что случалось это уже не однажды...

Сами павловские были и чуть лучше одеты, и чуть сдержаннее, хотя куда там!

Когда окончились бои, несколько машин, наша «газелька» в том числе, стали пробираться на одну из окраин, где жил дедок, чей гусак в очередной раз «перетер» крылья соперникам... Ехали по крепенькому и чистому деревянному городишку и таким же был домик, где с пирожками ожидала нас округленькая, в отличие от своего худющего супруга, хозяйка... какая, и правда, кругом была

чистота, как все блестело!.. Пошел в нужник на заднем дворе и долго стоял в дверях: не разуться ли?.. Все было застелено половичками из рядна, все обшито разноцветными лоскутами, на оклеенных веселыми обоями стенках висели тряпошные карманы и карманчики...

Чемпиона с двумя подругами, не очень крупного, но тугого даже на вид темно-серого гусака, так и оставшегося после нескольких хорошеньких трепок прямо-таки литым, ну перышко к перышку, уже перенесли в крошечный загон, примыкавший к окошку в полуподвале дома, где была кухня: чтобы хозяин, когда завтракал-обедал или когда распивал чай, видел бы своих подопечных...

Теперь мы сидели за снесенными из всех комнат и впритык составленными столами – ну, прямо, как в горнице у Золотухина, а гуси сверху тянули шеи, по привычке заглядывали через окно: мол, как там хозяин?.. Чем это он и с кем занимается?

Занимались, известное дело, чем, но разговоры при этом, разговоры! И правда, жизнь моя была бы бедней, не случись этой поездки на гусиные бои с Золотухиным.

- Ну, что? – тонким, хриповатым голосишком начал вставший с рюмкой в руке хозяин. – Уйди с нас беда, как с гуся вода!.. За это давайте!

Довольно загудели, начали привставать чтобы чокнуться.

И вдруг заговорили все сразу и обо всем, заговорили громко, напористо, и только худенький, как мальчик, хозяин деликатно помалкивал, поглядывая на всех чистыми, как у ребенка, мудрыми тихими глазами...

Странное дело: не помню сейчас, с бородой он был или чисто выбрит? Но очень хорошо помню этот удивительный, словно из глубины народной, внимательный взгляд...

Был он на кого-то из прежних моих добрых знакомцев сильно похож, но я никак не мог понять: на кого?.. На самодеятельного художника Ивана Селиванова из сибирского Прокопьевска, якобы примитивиста, которого московские умники заставили-таки поступить учиться в какой-то заочной академии, в которой и остались потом у московских «учителей» на руках почти все его бесценные картины?.. На конструктора Калашникова, внешне такого же мальчика, но уже сильно избалованного победами на олимпиадах и

конкурсах, слишком хорошего знающего себе цену и в мальчика больше играющего, нежели оставшимся таким... а правда, правда!

Сколько с Калашниковым общался, сколько рядом работал, а все не мог постичь какую-то его тайну, которую прячет не только от всего мира – даже от себя, и то прячет. Годами выработанная при советской власти привычка «закрытого» творца оружия?.. Закрывали его, закрывали – взял, и сам закрылся наглухо. Весь в орденах на генеральском кителе и в глянце журнальных обложек.

А живая жизнь вот она: эти съезжавшиеся в Павлово кривые да косенькие хитрованы в своей рванинке... тоже празднуют небось там сейчас, половина чемпионов – у них!

- Минские первые уезжать собираются, - пронесся вдруг за столом говорок. – Им-то дальше всех...

И вновь поднялся с рюмкой никуда не уходивший, но словно все это время отсутствовавший хозяин.

- Минским на дорожку... чтобы помнили, - и проговорил вдруг с какой-то вроде бы застарелой болью. – Разделяют нас!.. И с белорусами, и с Украиной. Потому как славян хотят уничтожить, это всем теперь видать, а вместе с ими и всю Россию... Да не получится, нет!

С чего это он тогда вдруг?

Прощался с ним – обещал вернуться да хорошенько обо всем расспросить, но разве жизнь складывается, как ты хочешь?..

... Все это, передуманное не однажды, пронеслось во мне в один миг.

- Если был там, если с Золотухиным дружит, - сказал я Мише. – Твой Русский Мальчик. Значит, наверняка тебе рассказывал, как наши гуси раньше в Париж ходили пешочком... Или в Берлин. Рассказывал?

- Об этом что-то не помню, - признался Миша. - Зачем – в Париж?

- Дело-то грустное, - взялся я. – На закуску. Печенку свою несли. Мясо. Перо и пух. Но главное – как, как?... Купцы договаривались, и погонщики сбивали стаи по несколько тысяч птиц... Грели смолу, каждого гуся макали в неё лапами и выпускали на песок: прошелся, и - готова обувка. Для дальней дороги. Хоть какой трудной. Всех обули, и в путь... За ними едут несколько повозок с кормом, с буторишкой, со съестными припасами для погонщиков, и так – и

месяц, и два, и три. До Берлина. До Парижа, может быть, пять, не знаю... Куда им было спешить?

И правда что: в наш беспросветный мир?

Уж где теперь настоящее «падлово» - так в нем как раз, в нём. В сегодняшнем мире.

И на убой гонят уже не гусей. И – не тысячами.

Счет давно на миллионы пошел...

- У него-то как вышло? Привез с охоты подранка, - стал мне Миша рассказывать. – Ну, выходил, подкормил, а осенью тот вдруг забежал по двору, заметался из угла в угол, закричал, да так жалостно и громко, что Мальчик все понял. Схватил его, поднялся на второй этаж своей дачки, вылез на крышу и швырнул его вверх... И тот понесся напрямиком: наверное, наше ухо не слышит, а он слышал, что где-то вверху кричат сородичи – в теплые страны летят... Мальчик говорит, не только рукой вслед ему помахал – как бы и душой попрощался, когда вдруг весной – на тебе! На соседнем участке с криком шлепаются два гуся, орут так, что чуть не вся округа сбежалась... А они ходят вдоль забора, а соседа, хозяина, дома нет. Перелез он через забор, и одного сразу перекинул, понял, что это вернулся свой, а гусыня, говорит, так кричала, но ничего – поймал и её. Прожили у него лето, гусят вывели...

- Как это – прожили? – засомневался я. – Ты попробуй-ка, домашних заведи, и то не обойдешься без какого-никакого болотца... а полетать?

- А это вот как раз его ноу-хау, говоря современным языком, - улыбнулся Миша. – Он сделал для них из досточек дорожку вокруг дома, ну, - такой серпантин наверх, чтобы с крыши могли взлетать. А потом ещё и надстройку в виду башни... поедем – увидишь.

- Поедем, наконец?

- Позвонил своим, чтобы мне передали: пусть ждет. Он мне нужен, мол...будем ждать?

- Да уж заждались! – сказал я Мише насмешливо.

12.

Какой там березовый лист с копеечку, какие гуси – конечно же, я обо всем забыл, потому что в Кузне раньше обычного начался вдруг сезон черемши... тут все бросай!

Уж если твои друзья нашли там время съездить за ней в тайгу или сходить на базар возле вокзала, или... дело не в этом, конечно же, хотя иной раз так хочется спросить: мол, откуда колба?.. Из каких мест?.. Не кузедеевская ли? Не с Терсей?.. Есть там, за Осиновым Плесом, вниз по Томи, три горных речки, три сестренки: Верхняя Терсь, Средняя Терсь и Нижняя... эх, не знаешь, какая и красивей!

А вдруг из Горной Шории? Из Мысков?.. Где, несмотря ни на что, попрежнему все живут по своему, м ы с к о в с к о м у времени.

Кого толстокожего всем этим не проймешь, но для меня чуть ли не каждый стебелек - как весточка из сибирской молодости: этот, с красноватым оттенком, грелся под солнышком, на полянке, а то и на южном склоне... Эти, подлинней и потолще, совсем белые и с крупным сочным листом, росли на болоте или где-нибудь от него поблизости... Подержал в руках, повздыхал и будто в тех местах побывал: а говорят, телепортация невозможна – да вот она! Стоит только подольше на черемшу поглазеть да запахом её подышать...

Но саму её приходится передавать самолетом.

Звонок среди ночи, и сразу: пиши! Рейс такой-то... Такого-то числа. Аэропорт Домодедово... записал?

Денек волнений, бросок в Домодедово, и вот уже ранним утром достаешь её дома из безразмерного сумаря, на расстеленных многостраничных теперь газетах – наконец, наконец-то пошли на пользу! – раскладываешь посреди кабинета: чтобы перестала копить внутреннее тепло, маленько протряхла, а заодно надо посмотреть, какое тебе передали богатство и как им будешь распоряжаться, как его делить... однажды вышло: Коля Ничик, младший дружок из шахтеров, свой брат-писатель, наскреб после смены, далеко не отходя, чуть ли не полный бумажный мешок, привез мне в Новокузнецке в гостиницу, а тут оказия, летят в Москву ребята из городской «ментовки». Возьмете, спрашиваю, для Шилова? Для Ивана Федоровича? – уважительно переспрашивают. – Какой разговор! Генерал-полковник тут начинал, помнят его и чтут: за передачу можно не волноваться. Но чтобы мешок был как мешок, купил я ещё десяток пучков отборной черемши, положил сверху. А он потом рассказывает, Иван Федорович: пришел сын, и я ему показываю пучок – смотри, мол, какое чудо! Не потекли слюнки? Потекли, говорит, дай хоть пару пучков, отец! Пару-не пару, а десяток дам – вон тут сколько! Вытащил не глядя десяток элитных

пучков, отдал, а когда стал потом мешок разбирать, а там не медвежий лук, а шахтерский, недаром же у него и это название есть: к а м е н н ы й... Надо сразу!

Очень непростое это дело, дележ черемши, - как на охоте или на рыбалке, но там-то за этим священнодействием вся кампания наблюдает, а тут ты - один одинешенек.

Раскладываешь по кучкам: это Вите Вьюшину, ему надо побольше, у него и дома едят, и сибирские дружки ждут... Для вкладчиков «Оргбанка», в котором он работает, конечно же, начнется время тревог: будут водить чуткими носами – мол, пахнет чем-то таким очень уж необычным, сильно пахнет... уж не дефолтом ли? А это – наша колба!

Ещё кучка Борису Рогатину, большому спортивному начальнику: знает в ней толк – никакой тебе допинг не сравнится. Он бы, не сомневаюсь, давно рекомендовал перед международными соревнованиями непременно включать её в рацион, да как на это дело за рубежом глянут? Тут надо ухо остро держать: хоть по части вони они там большие специалисты, но об этой, и точно, не имеют представления...

Эта кучка...

Посмеиваюсь, а на самом деле, бывало, у меня чуть ли не поднималось давление: как честно разделить, как бы кого не забыть, как бы не обидеть...

А ведь это только начало сезона – колба с юга Кузбасса, с отрогов Ала-Тау... Потом пойдет и кемеровская, и ещё более северная – из Чебулы, от друга Дерябина...

В это время приходится жить в Москве, все больше у Вити Вьюшина, который тоже считает: как сало для хохла – наркотик, так для сибиряка – черемша. Потому-то о «листе с копеечку» забыл напрочь, только тогда и вспомнил, когда Миша нашел меня в Кобяково.

- Ну, что? - спрашиваю его. – Вернулись гуси?

- Представь себе!- ответил он таким тоном, что было ясно: и он в этом сомневался. – Не только вернулись – уже на яйцах сидят. Там сейчас тишина, все по струнке, поэтому для громкого разговора зовет к себе в город... будет у тебя завтра время?

- Да уж найду как-нибудь. А что за разговор?

- Кажется, рассказывал тебе про его друга-черкеса?

- Может, это я тебе? О своих корешках из Адыгеи?

- Да нет, ну, помнишь – шейх из Эмиратов, у которого мать – черкешенка? Он теперь и на своем «мерседесе» разъезжает в белой черкеске – с кем поведешься, знаешь... Ну, Русский Мальчик все просвещал его, рассказывал о наших грустных делах. В том числе и на Кавказе. В зоне видишь ли, национальных интересов Америки... А у них у двоих был какой-то крупный ооновский грант, и когда они сделали работу и получили за неё очень, скажу тебе, приличные деньги, этот черкесский шейх и говорит ему: деньги твои. Вложи их на нашей родине в какое-нибудь серьезное дело на пользу простым людям... конечно, он растрогался, Мальчик...

- Ну, молодец этот черкес!

- Конечно, молодец! – горячо согласился Миша. – А теперь представь, что в Москве чуть ли не первым делом – информация-то идет! Кто есть кто, и что у кого в кармане и в банке. Так вот, первым делом затащили его в какой-то участвующий-полугосударственный фонд, который занимается подготовкой этого праздника – шестидесятилетия победы. И предлагают: вы нам перечисляете энную сумму – тоже будь здоров деньги, становитесь нашим соучредителем и вместе с гарантией высокой личной награды получаете от нас квоту на ордена для тех, кого вы посчитаете нужным наградить... ты понимаешь?

- Н-ну, если правильно... он получает право эти ордена продавать?

- Ты делаешь успехи, - сказал Миша не очень весело. – В том и дело: предпраздничная распродажа наград... как тебе?!

- Всегда знал, что суки, - пришлось сказать. – Но не до такой же степени!

- До такой, - утешил меня мой друг. – До такой...

- И как они разошлись?

- Он сказал, что спустится в машину за документами и вернулся с пластмассовой флягой спирта, который вез кому-то на дачу. Знаешь, такие возле брынцаловского «Ферейна» продают, по пять литров... Отобрал у секретарши ключи, попросил зажигалку и вытолкнул её погулять, сказал – дезинфекция. Разлил сперва перед дверью в приемной. Потом вошел и молча начал поливать ковер. Ну, само собой: вы что делаете?! Он сказал: как клопов!.. Чиркнул зажигалкой, вышел и замкнул дверь...

- Это что же – «коктейль Брынцалова»?

- Он тоже потом так – насчет этого «коктейля», - откликнулся Миша. – Тоже ноу-хау, видишь. Контора выгорела, но никто на него не заявил... И, знаешь, что он решил?

- Самому явиться с повинной?

Друг мой пожал плечами:

- Честно говоря, его это мало занимает. В этом отношении он без комплексов. А решил он сам создать фонд. Предварительно – «Народная медаль», так будет называться. Для вдов, которые ещё остались живы. Для тех, кто рос без отцов. Для детей войны. Кто не воевал, потому что был в лагерях... статус, знаешь, самый широкий. Как он говорит, Русский Мальчик: для тех, кто сам никогда никуда не лез, а молча тянул лямку и тянул. Не лгал. Не изворачивался. Для всех, кто столько лет бедствовал, но помогал другим... остались же на Руси праведники?

- Хоть кто-то об этом задумался, – сказал я глухим, отсыревшим, сам почувствовал, голосом.

- Кому и за что – это как раз его не смущает, - словно сам с собой рассуждал Миша.- Его смущает названием медали...

- Он уже и название придумал?

- В том-то и дело... ты сам никогда не занимался медалями? Не собирал?

- Да нет вроде...

- Ну, покажет, мне он показывал: есть старинная медаль петровских времен – в честь победы над нашими вечными друзьями, над турками. Все их корабли тогда полностью сожгли и потопили, и на медали – изображение турецкого флота и только слово под ним: «Был».

- Умели наши предки...

- Об этом он и хочет напомнить. Что – умели. Правда, другим способом. Выбить на медали контур Советского Союза с тем же самым словом под ним: «Был».

- Не слишком ли... не слишком?

- Так, а лучшее лекарство всегда – одна горечь... Сладкого лекарства не бывает. Разве не так?

- Н-не знаю, надо подумать.

- Поэтому и зовет нас. Как он говорит: стукнуться лбами...

- Мозговой штурм?..

- Вроде того что... но тут у него сомнений, в общем, нет: и контуры Союза, и это одинокое слово – от этого его уже не отговоришь.

- Тогда зачем лбами стучаться?

- Дело в оборотной стороне. Там он хочет контур одной России... какая стала. Само собой надпись внутри: «Россия». И внизу слова: «Будет вечно». Или как там лучше: может, п р е б у д е т вечно? Тут как бы филолог нужен... специалист. И ещё. Никак не может решить: как без братьев-то родных - без украинцев да белорусов. Нарисовать три республики?

Я только и сказал:

- Во сколько мы должны у него?

13.

Ночь была ясная, и полная луна висела как новая большая медаль: одна на всех на земле...

Ведь правда, подумалось мне, а ведь – правда!

А завтра солнышко встанет: один на всех орден, да ещё какой, какой!

И живите вы с ними: у каждого – есть, каждому от этого тепло и уютно, и никому не обидно.

Но нет, нет: чуть не всякому подавай ещё и личную медаль, и орден на грудь, да чем больше медалей и орденов, тем лучше для него... откуда оно пошло? С чего началось?

Историей наград никогда не занимался, впервые, глядя в Кобякове на луну, об этом задумался, ну, да что ж теперь: так, выходит, устроен человек, таким сделал мир вокруг себя, и так будет всегда, пока будет существовать белый свет... б о л ь ш о й д у н э й, как называют его черкесы... а, может, от изобилия наград он и погибнет?

Какая там экология, какой парниковый эффект... блуждающие кометы, способные взорвать землю... что там ещё, что?

А на самом деле оттого-то все и произойдет: мир рухнет под тяжестью наград. Его погубят амбиции.

В Москве на Бутырской, заваленная другими книгами, где-то в уголке лежит «История государства Чжурчженей», как-то так, разве тут не забудешь, при такой-то жизни... То ли перевод со старокитайского, то ли с древне-монгольского, академическое издание, из

которого, выходит, всего-то и вынес: чем хуже идут дела в государстве, тем больше в нем раздают наград.

С нами так и случилось, но разве это не относится ко всему миру?

Со множеством орденов, всякого рода премий, поощрительных, ведь каких только нет среди них, дипломов, грамот и прочих, прочих знаков признания... чего в итоге, чего?

Признания общей глупости? Или безвозвратно далеко ушедшей гордыни? Полной бездарности вождей мира, заведших всех нас в тупик? Общей безнравственности... чего, чего?

Или раздать ордена и премии не такому, как бы там ни было, широкому кругу лиц, часто одних и тех же, куда дешевле, чем всех остальных накормить?

Задал, думал я, задал нам с Мишей работу Русский Мальчик!

Столько уже о нем слышал, но так в общем-то и не понял, по каким правилам он играет – не по ним ли самим и установленным, как почти все теперь на б о л ь ш о м д у н э е?

Чуть не каждый – в свою дуду...

И удастся ли понять это завтра, когда увидимся: что же все-таки за человек, в конце-то концов?

Все его приключения... тут что ж.

После первой победы русского флота над шведами, победы почти невероятной - десяток лодок с солдатами, вооруженными одними ружьями, против двух кораблей с тяжелыми пушками – государь Петр Алексеевич велел выбить медаль с надписью: «Небываемое бывает».

Не всегда это помним.

Но, может быть, это-то и есть как раз сегодня – русский девиз?

И если мир устроен так, как устроен, и приходится принимать чужие правила игры, то не главное ли при этом – сберечь душу, самим собой остаться. Несмотря ни на что.

Но по тому ли пути хочет он пойти нынче: с этим фондом, которым в России уже несть числа... или это – дело особое? Сам он судя по всему никогда не вешал голову, есть же такие люди, и хочет теперь, чтобы её хоть слегка приподняли все обездоленные, забытые, обманутые, обиженные... разве это не главная наша сегодня беда – чуть ли не всеобщий повес головы?

А тут вдруг – о б о г р е т ь б о е в ы м в з г л я д о м.

Чуть ли не всех, кого только можно... а что, что?

Разве не нужен нам пример бескорыстия?

Пример мужества.

На редутах Бородина Алексей Петрович Ермолов в гущу французов бросал Георгиевские кресты, и солдатики штыками прокладывали себе к ним дорогу...

А наше, сегодняшнее Бородино, сдаётся, ещё впереди. И, может быть, это неосознанное желание Русского Мальчика сделать примерно то же самое: чтобы каждый победил обстоятельства своей почти беспросветной жизни и достойно прошел свой путь...

Впрочем, почему – неосознанное?

Сколько небось над всем этим размышлял и на родине, и в дальних чужих краях. Может, и с этим неожиданным своим корефаном, с арабским шейхом потихоньку советовался? Уж он-то ему о прелестях нашей жизни рассказывал поди без прикрас!

Но как помочь этому неординарному человеку? Чем его поддержать?

Да и примет ли он, хоть для этого и зовет, нашу помощь – и Мишину, и мою... каков-то он, и в самом деле, окажется, Русский Мальчик?

Снова, лёжа без сна, глядел я на луну за окном. На общую нашу, неизвестно за что пожалованную Творцом награду.

Или это вовсе и не медаль, а испеченный на поду, на капустных листьях поджаристый каравай – белая кубанская «паляныця»?

Может быть – круг копченого адыгейского сыра, который черкесы брали с собой в дальнюю дорогу: и сытен, и пахнет дымком родного очага?

А утром встанет красное солнышко...

февраль 2005-го, Майкоп
июнь 2009-го, Москва